

СИБИРИАДА

ВЛАДИМИР  
МАКСИМОВ

ЖИВАЯ ДУША

Сибиряда

Владимир Максимов

**Живая душа**

«ВЕЧЕ»

2018

**Максимов В. П.**

Живая душа / В. П. Максимов — «ВЕЧЕ», 2018 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-7552-8

В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира Максимова вошли повести и рассказы разных лет, в которых затронуты многие животрепещущие темы нашей жизни. Это и философские размышления о сущности человека и его предназначении в мире, и детские воспоминания, и мечты о будущем. В книге как реальные действующие лица присутствуют и Байкал, и Тихий океан, просторы которого бороздит герой повести «Такое вот Хироо», и маленький провинциальный городок в сибирской глубинке, где живут и действуют герои повести «В одном провинциальном городе». И конечно же основные размышления героев книги – это попытка ответить на главный вопрос в жизни любого человека: не «Как жить?», а «Зачем жить?». Для чего нам дана наша живая и бессмертная душа?..

ISBN 978-5-4484-7552-8

© Максимов В. П., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

## Содержание

Повести	5
Живая душа	5
В одном провинциальном городе	46
Конец ознакомительного фрагмента.	81

# Владимир Максимов

## Живая душа

### Повести

### Живая душа

*Жизнь не может быть лекарством от смерти, хотя смерть – безусловно, лекарство от жизни.*

*Имярек*

**В поисках утраченного времени, но не утраченных иллюзий  
Повествование в сквозных новеллах**

*19 июля 2012 года. Четверг. Порт Байкал. 10 часов утра...*

Я собирался здесь, на даче, написать маленькую новеллу о том, как одинокому человеку, вдовцу – то есть мне, мой, а точнее наш, сын Дмитрий привозит на эту самую дачу, в Порт Байкал, что у самого истока Ангары, рыжего котёнка – Карасика. Карася Каземировича, Рыжика, которого не с кем было оставить в городе, поскольку Дмитрий со своей женой Светланой собираются отправиться на две недели в Таиланд, в свадебное путешествие.

Сын женился в начале лета нынешнего года, 8 июня.

Женился так же, как и я, в своё время, в 31 год. Только летом, а не поздней осенью, как мы с Наташей, его матерью. И я надеюсь, хочу надеяться на это, что он будет счастлив со своей женой Светланой, как были счастливы мы с Натальей, прожив вместе 29 лет. И как жаль, что она не дожила всего три года до свадьбы Дмитрия...

Суть новеллы должна была сводиться к тому, что вначале отец – то есть я, не очень-то доволен тем, что к его обычным дачным делам и повседневным заботам: с утра после завтрака, в обязательном порядке писать (с ударением на втором слоге, впрочем, на первом тоже – только значительно раньше, сразу после пробуждения, ещё до умывания, подготовки завтрака и прочих мелких дел), хотя бы часа два, а после обеда заниматься необходимыми на даче хозяйскими делами...

*Не успел дописать фразу – зазвонил, вернее, пропел мелодией польского гимна «Ещё Польска не сгинела, покида ми живы...» мой мобильный телефон, лежащий на столе, рядом с листами, на которых я пишу.*

– Привет, дружище! – донёсся глубокий приятный, и какой-то барственный голос поэта (очень хорошего, кстати, поэта) Григория Вихрова, живущего вот уже много лет в Москве, но триумфально начавшего свою творческую деятельность у нас, в Иркутске.

– Гриша, ты в Иркутске, что ли? – обрадовался я.

– Нет, по-прежнему в бестолковой и шумной столице. Просто ещё не ложился. (Я взглянул на будильник, стоящий на столе напротив меня. Одиннадцать. Значит, в Москве – шесть часов утра.) И вот захотелось тебе позвонить, поговорить. Почитать новые стихи, написанные нынешней ночью. Да и соскучился я по тебе, бродяга. Осенью, может быть, выберусь к вам на Байкал с Женькой. (Послышался, показалось что, очень далёкий и неясный женский

*голос, что-то прошелестевший Грише там, в Москве.) Ну, с Евгенией Михайловной, – поправился он, – ответив на не расслышанную мною фразу. (Многие, в том числе и я, знали, что вторая жена Гриши лет на десять старше его.) – И уже снова мне: – Ну, слушай!*

*Он прочёл своим бархатным голосом, с искусством прирождённого декламатора, несколько стихотворений, заворожив меня их музыкальностью и необычайной образностью. Особенно мне запомнилась одна строка из последнего стихотворения: «В пятнадцатый день десятой луны тысяча сто сорокового года...» И что-то ещё: «Девушка из династии Сунн...» И сколько-то там минуло в разлуке лун...*

*– Ну, как? – спросил он, закончив декламировать.*

*– Здорово, Гриша! – честно признался я. – И по форме, и по содержанию. А ещё у тебя есть хорошая особенность, ты не стараешься читать стихи «с выражением»! Ты читаешь их выразительно.*

*– Ну и ладненько. Пойду тогда спать. Пока.*

...Голос умолк. И из Китая двенадцатого века я снова перенёсся в век двадцать первый, на свою дачу у Байкала.

Итак, мы остановились на том, что дел на даче, как известно, всегда много. А тут ещё прибавится забот: надо будет кормить кота (вопрос – чем?), где-то брать наполнитель для его домашнего туалета. Ибо котёнок он доморощенный и не может, как местные деревенские коты и кошки, справлять свою малую и большую нужду на улице – к лотку приучен. И в этом лотке надо будет потом за ним убирать. Да ещё следить, чтобы он не удрал из дома. В общем, как говорится, и т. д. и т. п.

И как впоследствии он, этот человек, то есть я, понимает, как здорово, что ему привезли это игривое, весёлое, живое существо. И его недовольство сменяется благодарностью. И даже тихой радостью, потому что теперь ему не так одиноко. Есть о ком заботиться. А как приятно видеть, когда кот со всех ног бежит к нему, встречает после прихода с улицы. Ходит кругами вокруг меня, трётся о ногу, ласково мурлычет и всем своим видом даёт понять, что он очень рад возвращению хозяина даже после недолгого отсутствия.

А однажды и вообще он спас меня.

Я оказался один в ночной степи, освещённой таинственным мертвенным лунным светом и яркими большими близкими звёздами. И я бреду по этой степи, не зная куда и зачем. Без всякой надежды выйти к людям. Ибо степь кажется бескрайней. И вот этот одинокий, отчаявшийся человек слышит очень далёкое тарахтение невидимого ему трактора. Идёт на звук и вскоре замечает далёкий, почти на самом горизонте, маленький, трепетный огонёк костра. И уже весело, зная, что он не один в этой ночной чёрной степи, направляется туда – к этому костеру. К людям, к тарахтению трактора...

А открыв глаза, просыпаясь, я понимаю, что всё это видел во сне. Наяву же замечаю ранние солнечные блики на крашеном блестящем полу, проникшие в дом из восточного окна. И слышу, как тарахтит рядом со мной тот самый «трактор», спасший меня в степи – маленький рыжий смешной котёнок, крепко спящий у моего плеча.

«Так вот значит какой “тракторишка” вывел меня к людям, – благодарно думает человек, ласково глядя на спящего котёнка. Живая душа!» – радуется он и гладит кота по шелковистой шерстке. А тот, в благодарность за ласку, ещё в сонной истоме, утыкается прохладным влажным розовым носиком в плечо хозяину. И так они лежат рядышком ещё какое-то время, радуясь наступившему новому дню, солнцу, лету, теплу.

Вот, собственно, и всё, что должно было быть в этой новелле.

Впрочем, нет. Пожалуй, не всё. Должно было быть ещё прощание, вернее, расставание с котёнком.

За несколько дней до моего отъезда с дачи, чтобы не обременять меня ещё и «вывозом живности», за Карасиком приехал сын...

Хотя 19 июля, когда я начал писать новеллу о котёнке, я об этом ещё не знал. Поскольку его Дима увёз 11 августа, в субботу, когда я, по обыкновению, топил баню чудесным солнечным днём.

– Ты, отец, не заморачивайся, – сказал он, выпив рюмку коньяка и заев её долькой лимона. (Сам я перед баней не обедаю, предпочитаю париться натошак.) – Иди спокойно в баню, – продолжил он, с аппетитом хлебая борщ с тушенкой, – а мы с Рыжиком сами до парома как-нибудь добредём. Жаль только, что ты нагрузил меня снова неизвестно чем.

«Неизвестно чем» было: свежая малина в стеклянной банке, пересыпанная сахаром, сушёные грибы, замороженный свежий омуль, завёрнутый в несколько полиэтиленовых пакетов, чтобы остальные продукты не пропахли рыбой, цветная капуста, которой меня угостили соседи по даче и которую я готовить не умею, и сухой, ещё оставшийся у меня кошачий корм. Всё это было сложено в большой пакет.

– Ну, да ладно, – продолжил сын примирительно, чтобы не расстраивать меня, – до той стороны как-нибудь доберёмся. А там, ты говоришь, нас встретит на машине твоя знакомая и отвезёт до дома.

– Встретит, Дима. Я сегодня утром, ещё до твоего приезда, Наталье Афанасьевне звонил. И она договорилась со своей дочерью Олесей приехать за тобой. Они будут ждать вас на той стороне. Подъедут прямо к парому. Так что доставят вас с Карасиком прямо до подъезда

Пообедав, Дима посадил Карасика в спортивную сумку, застегнув молнию с двух сторон так, что посередине высовывалась только голова котёнка с его недоумевающим и немного испуганным взглядом.

Взяв довольно объёмный полиэтиленовый пакет, которым я его снабдил, в одну руку, а сумку в другую, он, простившись со мной, пошёл по извилистой тропинке к калитке нашего весьма просторного участка. И всё это время я видел, как Карасик вытягивает шею и смотрит на меня, стоящего на крыльце дома, очевидно, не понимая, почему расстанутся эти два близких любимых им человека.

До конца я тоже этого не понимал, стараясь оправдать расставание необходимыми обстоятельствами жизни. Хотя всё моё существо кричало о том, что единственным необходимым обстоятельством нашей жизни должно быть не разлучение близких душ. Тем более что жизнь так коротка.

Я не выдержал и нагнал их.

– Дима, давай пакет. Я вас провожу.

– А баня? – спросил сын, передавая мне пакет

– Никуда она не денется. Попарюсь сегодня попозже.

Мы шли сначала по тропинке. Потом – по поросшей аптечной ромашкой, с её таким приятным деревенским запахом, забытым в городах, просёлочной дороге. Потом снова – по узкой и крутой тропе, спускаясь к Байкалу. Говорили о чём-то несущественном, о пустяках, не имеющих особого значения. Наверное, так всегда поступают люди, стремящиеся казаться беспечными, чтобы не расстраивать перед разлукой близких людей. Однако я видел, что мои попытки быть беспечным плохо удавались мне. И только Карасишка, выглядывающий из сумки, покачивающейся между нашими ногами, успокоился и уже с нескрываемым интересом наблюдал за пролетающими мимо красивыми бабочками, крутя головой и вдыхая незнакомые ему запахи вольного ветра, когда мы спустились к Байкалу...



– Ну, ладно, до встречи, – свободной рукой приобнял меня сын у парома. – Да не грусти ты так, отец. Ты же через несколько дней приедешь. А мы тебя все будем ждать: я, Карасик, Света. Фотографии тебе из Таиланда покажем. Давай пакет, – протянул он руку и, взяв продукты, вошёл на паром.

Тот медленно и как-то неуклюже, словно с неохотой, стал отходить от причала, и лента тёмной воды, разъединяющая нас, становилась всё шире и шире.

Вернувшись на дачу и отдёрнув сначала кремовую тюлевую занавеску (от назойливых летних насекомых, в основном мух), я по привычке осторожно отворил входную, открывающуюся внутрь дверь, чтобы не ударить ею Карасика, который обычно встречал меня стоя на коврике перед ней, с нетерпением дожидаясь моего прихода: из магазина, из бани ли. А встретив, начинал ластиться, просясь на руки...

За дверью, естественно, никого не оказалось, а дом, несмотря на его небольшие размеры, показался мне вдруг таким большим, гулким и пустым, каким бывает ранним утром сонный безлюдный вокзал. Ни стульев, ни стола, ни кровати в нем как будто бы не было. И только белая печь прочно стояла посреди. Да на веранде, куда я вышел, был широкий рундук, потому что я помню, что, вместо того чтобы идти в баню, подкинуть в печь дровец, улёгся на него и закрыл глаза, мысленно стараясь продолжить строчку, пришедшую мне на ум на обратной дороге: «Чем измерить меру одиночества?..»

«Да, одиночество хорошо только тогда, когда есть с кем им поделиться», – невесело подумал я. И ещё, отчего-то вспоминая роман Михаила Булгакова «Господин де Мольер», прочитанный недавно, я припомнил две строки, сочиненные в связи с этим романом. И которые, наверное, как и предыдущая строка, пришедшая мне на ум на обратной дороге, не станут никогда законченным стихотворением. А так и останутся осколком бытия, просвистевшим мимо. Хотя, и успевшим ранить сердце по касательной.

«Воскреснуть, чтобы снова умереть? Как это, сударь скучно, право...»

Почему после прочтения романа придумались, написались именно эти строки, я ответить не смогу. Что-то вызвало к жизни именно их. А что именно, я не знаю.

Что же касается задуманной новеллы, во всей её простоте, лёгкости, ясности, и даже некоторой незаконченности, как мне виделось в мечтах, то она отчего-то никак не давалась мне. Всякий раз перерастая в рассказ с неведомым для меня сюжетом и неизвестным исходом. И я на следующий день, перечитав написанное накануне, начинал всё сначала. И так было не один раз. Однако снова вместо маленькой новеллы получался объёмный рассказ. Обрастающий подробностями, иногда, как выяснялось позже, совсем ненужными. И тут же появлялись новые, как мне казалось теперь, важные вставки, поспешно записываемые на отдельных листах, уже с иными сюжетными линиями. И вновь я заходил в какой-то творческий тупик, увязая, как в топком болоте, в обилии материала и сознавая своё бессилие от невозможности справиться с ним. От невозможности кратко, чётко и ясно выразить словами свои мысли. «Краткость и точность – вот первые достоинства прозы...», вспоминал я Пушкина, приходя в отчаяние. Меня охватывала паника. И я уже не мог ответить себе на главный для любого пишущего человека вопрос: «Для чего я это, собственно говоря, пишу?» И нужно ли будет хоть кому-то написанное мною? Впрочем, в глубине души я понимал, что любой творческий процесс, в том числе и литературный, не нуждается в оправдании, поскольку не отвечает на вопрос: «Зачем это надо писать?» Он отвечает, как я уже упомянул, на вопрос: «Для чего?» Но вот на него-то я и не находил ответа.

Я прекращал работу. И на следующий день начинал всё сначала, с чистого листа, успокаивая себя фразой знаменитого голландского конькобежца Кейса Феркерка: «Падая и вставая – ты растёшь».

В конце концов я пришёл к мысли, что не стоит бороться с тем, что неотвязно просится на бумагу. Что по сюжету это может быть не обязательно новелла или рассказ. Это может быть



повествование из нечётко разграниченных между собою новелл, касающихся темы: «Живая душа». А может быть, и не касающейся данной темы напрямую, поскольку в творческом процессе многое непредсказуемо. Более не предсказуемо, чем в обычной жизни. А ведь на самом деле всё необычайно просто. Все мы, каждый человек, страдаем и мучаемся до тех пор, пока не встретим созвучную нам живую душу. Но это, увы, такая редкость. Но зато и такая редкостная удача, если кому-то посчастливится обрести это созвучье близких душ.

Вот об этом я и постараюсь написать, решил я.

И ещё я подумал о том, что любые наши воспоминания – лишь эхо минувших событий. Некий их отзвук. «Поиски утраченного времени», как об этом сказал Марсель Пруст.

Я, например, очень хорошо помню многие свои ощущения, порою и весьма отдалённые теперь от нынешнего дня. Но всегда затрудняюсь, а чаще всего и не могу вспомнить год, когда-то или иное событие произошло. Для меня будто существует только близкое «вчера» и «сегодня». Причём «вчера» может отстоять от «теперь» на много-много лет. И я порою с искренним изумлением думаю: «А где теперь тот любознательный, мечтательный, задиристый, желающий, чтобы всё всегда было по справедливости, мальчик, которым я был. Где он?» Ведь не ответишь же на этот вопрос словами Горького из его романа «Жизнь Клима Самгина»: «А был ли мальчик?» Это было бы слишком просто. И это не было бы правдой, потому что я-то точно знаю, что мальчик был. Я даже иногда, хотя и очень редко теперь, ощущаю его в себе.

Я даже вспомнил, как одна моя знакомая журналистка брала у меня интервью, в конце которого почему-то спросила: «А ты не боишься впасть в детство? Ведь возраст-то уже солидный?»

– Не боюсь, – вполне искренне ответил я, – поскольку я из него никогда и не выпадал...

Может быть, именно из-за всего этого, из-за этих неотступных мыслей мне и захотелось облечь в слова то, что я чувствую и знаю. Тем более что литературные герои зачастую гораздо живее и реальнее наших современников. Ведь даже живущих с нами на одной лестничной клетке людей мы можем порой не знать, ничуть не страдая от этого. А вот князя Андрея, Наташу Ростову из «Войны и мира» Толстого, Дон Кихота, Сервантеса, Ромео и Джульетту, Шекспира – знает почти каждый, даже тот, кто этих книг не читал. Но герои их сами стали реальностью жизни, причём более реальной, чем происходящая вокруг нас жизнь. Ибо литература – это одновременно и лекарство от смерти и напоминание о ней. Помните, как хорошо об этом сказано у Милорада Павича в его чудесной вещи «Вечность и ещё один день»: «Любая смерть есть, в сущности, слово. Все наши смерти, вместе взятые, составляют великое неразгаданное послание...»

И раз есть литература, есть люди, которые, несмотря ни на что, пишут новые, небывалые (в смысле не бывшие прежде) произведения – следовательно, человек бессмертен, как и его живая душа.

Вот и я попробую написать рассказ о своих мыслях и ощущениях. Причём создавая его, мне хочется сделать это с дневниковой точностью. Как это удалось Хемингуэю в его прекрасной книге «Зелёные холмы Африки». Где нет художественного вымысла, а есть только повседневная жизнь, повседневные разговоры...

Сам Хемингуэй написал об этой повести так: «Автор стремился создать абсолютно правдивую книгу, чтобы выяснить, может ли такое правдивое изображение событий одного месяца и страны, в которой они происходили, соперничать с творческим вымыслом».

Попробую и я сделать нечто подобное. Пусть это будет повествование в новеллах, рассказ или маленькая повесть. Жанр здесь не важен. Важно, чтобы всё, о чём я напишу, было точно. С датами, деталями дня, происходящими событиями, какими-то сиюминутными вещами. Как тот, уже включённый в канву повествования, телефонный разговор с Григорием Вихровым.

Зачем я собираюсь это сделать? Я не знаю. О чём будет рассказ? Теперь уже не ведаю. Надеюсь, что не ведаю пока, имея в голове лишь, некий абрис будущей вещи. И конечно же

наивное желание самовыражения, которое сопутствует любому творческому процессу. Будь то писание романов или приготовление борща...

*И вновь звонок. На сей раз из Ангарска.*

*Мой друг, хороший композитор и музыкант Евгений Николаевич Якушенко, для меня просто Женя, радостно кричит в трубку:*

*– Старик, я стал прадедом!*

*Выясняется, что у дочери его сына Артёма, прекрасного скрипача с мировым именем, из дуэта «Белый Острог», дочь Наталья, которую я знал ещё совсем маленькой девочкой (тогда Артём со своей первой женой жил ещё в Ангарске, а не в Москве), в четыре часа утра родила мальчика, которого заранее было решено назвать Павлом. («Душа моя Павел, держись строгих правил», – вспомнилось мне откуда-то).*

*– Представляешь, богатырь, – продолжал орать Евгений, для чего мне приходилось трубку мобильного телефона слегка отодвигать от уха. – Вес – три девятьсот! Рост – пятьдесят семь сантиметров! Мы с Наташкой (жена Жени) пьём за его здоровье! Я – водку «Омულёвку», она – вино. Жаль, что тебя нет, – немного сбавил Женя звук.*

*– Не рановато начали? – пошутил я, поздравив их с правнуком.*

*– После двенадцати можно! – бодро ответил Женя. И добавил: – Мы к тебе прикатим денька на два с Наташкой.*

*Я взглянул на часы, было 12.45.*

*– Только предупредите о приезде заранее, – начал я, но связь оборвалась. У нас здесь, среди гор, такое частенько бывает.*

...Что ж, и мне пора на сегодня закругляться. Тем более что, слава богу, с очередного захода рассказ, кажется, пошёл.

Продолжу завтра.

### **20 июля 2012 года. Пятница, Порт Байкал. 10.10**

Ночью я спал крепко. И мне снилось что-то очень хорошее. Может быть оттого, что не прекращающиеся с понедельника, по сообщениям синоптиков, «кратковременные дожди» наконец-то прекратились. И, гуляя по своему саду сновидений, я даже во сне пытался сохранить что-то заветное в своей памяти. Как хорошо о сне сказано у Владимира Набокова и словно о наших местах:

Когда с небес на этот берег дикий  
Роняет ночь свой траурный платок,  
Полушутя даёт мне Сон безликий  
Небытия таинственный урок.

Проснулся я, да и то с трудом, в половине восьмого, от настойчивого мяуканья Карасика.

Он сидел на шкуре белого оленя, лежащей у кровати вместо коврика, и истошно орал, широко разевая свой розовый ротик.

Его «биологические часы» сработали точно. Он уже привык за время совместного нашего проживания, что я встаю в это время и первым делом кормлю его.

– Каземирыч, ну чего ты орёшь? – Опустив правую руку, я погладил его. И он довольно зауркал. – Сейчас встану, покормлю тебя.

В холодильнике на веранде, куда я протопал босиком, уже со вчерашнего вечера вынутые из морозильной камеры на нижней полочке лежали в прозрачном полиэтиленовом пакете две довольно большие мойвы.

Купленную в магазине рыбу я раскладываю порционно в прозрачные пакеты. Если рыбки небольшие – по три, а если довольно крупные – по две. И храню всё это в общем пакете в морозилке.

На пластмассовой разделочной доске для рыбы я разрезал на небольшие кусочки мойву и положил в чашку Карасика, ходящего вокруг мне кругами от дразнящего его аппетит запаха рыбы. И нужно было видеть, с каким удовольствием он начал поглощать кусочки жирной мойвы.

А я всё в том же наряде, то есть в одних трусах, выйдя из помещения, проследовал по найденной росистой тропинке в «домик уединения», скрытый небольшой молодой берёзовой рощицей с несколькими могучими соснами, растущими среди них.

С внутренней стороны двери очень чистого у нас туалета была приделана небольшая картонная табличка с надписью: «Красный уголок».

Вернувшись через некоторое время к дому, я умылся возле уличного умывальника, ощущая не только бодрость от прохладной воды, но и приятную мягкость росистой травы под ногами.

Приезжая на дачу, я каждое утро прохаживаюсь босиком по этому маршруту: до «домика уединения», потом к умывальнику, с его приятно звенящим не то носиком, не то хоботком, и только потом вхожу в дом.

Порою, ближе к Покрову, если я ещё на даче, шагаю, а вернее бегу босиком, иногда уже по выпавшему ночью снегу.

Сегодня, на обратном пути, немного побродив по участку, нашёл в березнячке один гриб. Обычно же я по утрам срезаю для сушки на зиму три-четыре гриба. Но зато сегодня мне попался ядрёный белый гриб!

Возвратившись в дом, я выпил натошак два стакана воды. Помолился у иконок Богородицы и Христа, висящих в восточном углу дома. Приготовил овсянку, поскольку сегодня пятница – день постный. В готовую кашу намыл горстку изюма. Заварил крепкий чай. Отрезал в кружку с чаем дольку лимона...

Позавтракав, вымыл в тазике посуду горячей водой, оставшейся в чайнике, разрезал на небольшие кусочки на разделочной деревянной доске белый гриб, положил его в картонную коробку, которую поставил на печку. Сделав все утренние дела, сел на веранде за чистый стол поработать. Время от времени, наблюдая в своём «шестиканальном телевизоре» (настоящего телевизора у нас в городской квартире нет уже больше года, а здесь, на даче, этой напасти вообще никогда не было) – окне веранды, разделённом пятью вертикальными перегородками на шесть частей, что делается в округе.

На «первом канале» – мой ближайший сосед по имени Женя Серебрянников, а точнее – его дом и видимая часть участка. По возрасту Женя уже давно, конечно же, заслужил право быть Евгением Яковлевичем. Но я его, поскольку мы почти ровесники, по-прежнему зову Женей и даже Женькой. Местные жители прозывают – Канада, с ударением на последнем слоге. И у него мы, кстати, в прошлое воскресенье, в макушку лета, 15 июля, с некоторым опозданием, правда, отпраздновали 110-летие Сергея Яковлевича Лемешева. И сорокалетие одной известной у нас на горе дамы, частенько ранее приезжающей ко мне. А ныне – просто моей приятельницы, с которой прежде мы были очень близки. Но об этом я расскажу чуть

позже, поскольку это интересно, с точки зрения почти утраченных иллюзий. И это будет ещё одна неявная новелла сего лоскутного повествования. Тем более что о ней я уже написал в предыдущих, отвергнутых мною потом вариантах рассказа. А в них есть, на мой взгляд, очень хорошие куски. И мне не хотелось бы, чтобы они пропали вовсе.

Итак, мой ближайший сосед по имени вышел пострелять из охотничьего лука.

Стреляет он метров с шестидесяти в щит, собранный из белых кусков пенопласта в центре которого закреплена чёрная граммофонная пластинка так контрастирующая по цвету с белым цветом щита. Размер самого щита где-то полтора на полтора метра и толщиной сантиметров в десять, наверное.

Задача стрелка – попасть не просто в щит, и даже не просто в пластинку, а в синий или красный кружочек бумаги (несколько сантиметров в диаметре) с круглой дырочкой посередине, приклеенной в центре пластинки. И обычно Жене это удаётся.

Даже через стекло верандного окна я слышу, как упруго щёлкает тетива и как с характерным хищным и злым звуком вонзаются в щит стрелы.

Выхожу на крыльцо. Одеваю стоящие там сабо с деревянной колодкой, купленные мной на исходе прошлого века в чудесном городе Таллинне, и иду к соседу, устроив себе небольшой перерыв.

– Ну, как успехи? – спрашиваю, подойдя к нему сзади.

– Гляди, – не оборачиваясь, отвечает он, узнав меня по голосу, и закрепляя на тетиве очередную стрелу.

Целится, натягивает тетиву, отпускает на волю стрелу, и... остатки пластинки: «Хороши у нас в саду цветочки, ещё лучше девушки весной!» как-то весело, с каким-то сухим звуком, разлетаются в разные стороны.

– Силён! – восхищаюсь я и произношу, вытягивая из себя сочинённый тут же, каламбур. – Он, как Диана, метит в цель. Стрела летит в забора щель.

Дело в том, что щит стоит у деревянного забора, за которым – дорога, превратившаяся со временем от ручья, текущего по ней и под ней, в небольшой неглубокий каньон.

– Неправда ваша, батенька, – улыбается, оборачиваясь, Женька, мой однокурсник по охотоведческому факультету, который мы вместе окончили, страшно даже подумать, ровно сорок лет назад.

«Значит, знакомы мы с Женькой уже сорок пять лет! Почти полвека, – подсчитываю я мысленно. – Так и не став, однако, за всё это время друзьями. В лучшем случае, мы просто приятели...»

Возвращаюсь домой.

Но, прежде чем продолжить работу, вернее, снова включиться в то состояние, которое этому сопутствует, рассеяно перебираю взглядом и «другие каналы» своего дачного «телевидения».

На втором – аккуратный, небольшой белый домик (отделанный, модным ныне сайдингом) с красной «черепичной» крышей (металлочерепица). Принадлежит он бывшему байкальскому капитану Юрию Владимировичу Косякову. Все окна в нём сейчас закрыты жалюзи.

Дом этот за один сезон построил (точнее, нанял бригаду строителей, которая сделала это столь быстро) зять капитана из Питера, бывающий здесь крайне редко. И капитан с женой используют теперь участок при доме как огород. Внизу у них, у Байкала, в двухэтажном деревянном бараке есть квартира, но нет земельного участка.

На «третьем канале» виден очень красивый, со множеством пристроек и «неровной вычурностью крыш», как поётся в песне Олега Митяева, ещё строящийся дом академика Гудкова. Крыша из металлочерепицы на основном доме выдержана в цветах российского флага – бело-красно-синяя. В три широких полосы. Пока на стройке тишина.

Зато на «четвёртом канале», у соседей – через «каньон», по-прежнему, впрочем, называемый улицей Горной, Николаевых сегодня оживление. Подъехала одна машина, вторая. По-видимому, у сыновей Галины Алексеевны, живущей на даче с мая по октябрь, Алексея и Николая отпуск или выходные. На их участке теперь три дома: Галины Алексеевны, Лёши, Коли. Дома стоят почти в одну линию, но на разной высоте, поэтому отчётливо видны почти все.

Самый нижний дом – Галины Алексеевны, называется «Дом под кедром».

Из-за этого высокого, красивого дерева они в своё время с Валерием Ивановичем, мужем Галины Алексеевны, и купили этот дом у местного деда – вдовца, собиравшегося уезжать куда-то к детям.

Потом, на их большом участке, поднимающемся в гору, почти на самой её пологой макушке, построился старший их сын Николай. Было это в конце прошлого века.

А потом переехав из Братска в Иркутск, между ними воздвиг свой дом и младший сын Алексей.

В отличие от материнского, обычного деревенского дома, у обоих сыновей дома большие, двухэтажные, красивые.

А жена Коли Катя, дочь Евгении Ивановны Молчановой (отец Евгении был в тридцатые – сороковые – пятидесятые годы прошлого века известным в СССР поэтом, встречался с Горьким) от первого брака (нынче Евгения замужем за поэтом Скифом), прекрасно, как профессиональный гонщик, водит машину по нашей разухабистой и каменистой улице Горной.

А сестра Евгении Ивановны – Светлана Ивановна, к слову сказать, была женой Валентина Григорьевича Распутина. Фактически живого классика литературы наших дней. И дача, где теперь живут Скифы – Володя с Женей, их дочери и дети их дочерей, – была когда-то дачей Распутиных. На ней в своё время Валентин Григорьевич и написал так много прекрасных рассказов, переведённых потом почти на все языки мира. Такие, например, как «Наташа», «Что передать вороне?» и другие...

«Что передать вороне?», по-моему, особенно хорош. Есть в нём какая-то необъяснимая пронзительность, проникающая в тебя и трогающая до глубины души. Печально только, что ни Светланы Ивановны, ни их дочери Марии, маленькой (по возрасту) героини того рассказа, уже нет на этом свете.

Светлану Ивановну отпели в Богоявленском соборе Иркутска в начале нынешнего лета. А Марию, прекрасную органистку, сгоревшую в разбившемся в Иркутском аэропорту самолёте, несколько лет назад отпевал сам владыка Вадим в Знаменском соборе, недалеко от которого теперь стоит памятник Александру Васильевичу Колчаку работы известного скульптора Клыкова. Памятник поставлен у собора потому, что после расстрела большевиками адмирала его сбросили в прорубь – иордань, прорубленную во льду Ангары к Крещению Господнему. Из этой проруби монахини Знаменского монастыря (прежде это был женский монастырь) брали воду. И произошло это 7 февраля 1920 года...

На «пятом канале», уже снова с нашей стороны дороги, как-то очень грустно, насупившись, с закрытыми ставнями окнами стоит дом Светланы Ивановны Таволжанской, скульптора и жены художника Глеба Богданова. Его уже давно нет в живых. Ёё похоронили месяц назад. А сын Светланы Ивановны, оказавшийся в Израиле, что-то не очень спешит возвращаться в родные места. Туда, где он бегал ещё босоногим мальчишкой, проводя на даче лето.

Итак, обзрев почти на сто восемьдесят градусов окрестности, снова берусь за работу. И вдруг слышу, как сама собой, с противным протяжным скрипом, неспешно начинает отворяться дверь хозяйственного шкафа, в котором у нас хранится посуда, кое-какие продукты и которую, я точно помню, плотно прикрыл, когда вернулся с Женькиного участка. Такое ощущение, будто дверь кто-то не очень сильный настырно толкает изнутри. «Может быть, гномик?» Через минуту выясняется, что это совсем не гномик. Из шкафа, толкая дверцу головой, выбирается Карасик.

Выбравшись на волю, он какое-то время смотрит на меня недоумённо, словно спрашивая: «А что это ты тут делаешь?» А затем, сладко потянувшись, прогнув спину, начинает точить когти, попеременно, то одной, то другой лапкой, вонзая их в ворс паласа, почти полностью закрывающего пол веранды.

Судя по всему, он спал в шкафу. Причём он сам научился приоткрывать дверцу. Зацепит её снизу коготком и тянет на себя, пока не образуется щель. Открывая же дверцу изнутри, он толкает её от себя. Умный котик. А спит он обычно в шкафу на нижней полке, на пустых полиэтиленовых пакетах, сложенных в картонной коробке, рядом с небольшим пластмассовым лотком для картошки. Этакая получается там у него безопасная колыбелька.

Вообще у него на веранде три излюбленных места отдыха. Уже упомянутый шкаф. Верхняя ступенька лестницы, ведущей на второй этаж. Обычно он забирается туда, когда я ухожу из дома, и спит, как в норке, под закрытым люком. И – рундук. На мягкой подстилке рундука он любит подрёмывать днём, когда вся веранда залита солнцем.

Поточив когти, Каземирыч подходит ко мне и тихо, почти беззвучно мяукнув, падает «замертво» на спину, рядом с моей табуреткой. Кверху брюшком, с белой мягкой шерсткой на нем. Это означает, что я должен его погладить. И я, прекратив все свои занятия, наклонившись, конечно же, глажу его. И спинку, и брюшко. А он довольно урчит и жмурится.

Глядя на его вальяжную позу, решаю, что и мне, пожалуй, пора отдохнуть. Тем более что времени почти двенадцать. А я обычно работаю с 10 до 12. Больше двух часов уже тяжело. Да и нельзя творческий колодец души вычерпывать до дна. К тому же и дел у меня сегодня, на после обеда, намечено немало. А до обеда надо ещё успеть сходить в магазин – купить, кой-каких продуктов да пивка. Ведь завтра у меня, как обычно по субботам, баня! Да и гости должны приехать.

После обеда, с двух до пяти, я занимаюсь, по обыкновению, хозяйственными делами.

Вчера, например, проредил на участке очень уж загустевшую берёзовую поросль. Причём угадал как раз вовремя. Через неделю после Петрова поста, когда лист на берёзе самый крепкий. Сегодня буду из того, что нарубил вчера, вязать берёзовые веники для бани. Ещё вчера я успел вырубить кусты черёмухи, листву на которых сожрала нынче Горностаевая моль, неведомо откуда нагрянувшая в наши края.

Одним словом, дел на даче всегда хватает.

И это хорошо. А ещё хорошо то, что нет у меня тут никаких грядок. Вот и получается, что обычно я два часа в день пишу и три часа работаю физически. После чего моюсь в бане нагретой в ведре большим кипятильником водой. Готовлю ужин себе и Карасишке. Ужинаю.

Вчера у меня была яичница из двух яиц и двух сосисок, салат из помидоров с луком, чёрный хлеб и стакан красного сухого вина. А Карасю я отварил несколько кусочков минтая с морковкой.

После ужина, вымыв посуду, почистив зубы, иду в дом помолиться.

Молюсь о дорогих своих усопших, список которых всё удлиняется, увы, а список «За здоровье» становится короче. Когда молюсь о родных и близких, думаю что, может быть, и о моей душе потом, когда придёт срок, найдётся молитвенник...

После вечерних молитв, обычно уже часов в восемь, расстилаю постель, ложусь и часа два читаю. И это время, когда дневные дела окончены и можно отдохнуть за интересной книгой, я очень люблю. И обычно, когда ложусь в постель, ко мне тут же запрыгивает Карасик, и, устроившись с боку, начинает тарыхтеть, как маленький тракторишка. При этом рожица у него от удовольствия становится такая умильная.

Вот такой у меня обычный дачный распорядок дня.

Сейчас я читаю Булгакова – «Театральный роман». «Белую гвардию» уже прочёл...

Ну ладно, заканчиваю. Завтра, а вернее в понедельник, потому что в субботу и в воскресенье я не работаю, коплю впечатления, продолжу.

Поговорим о неутраченных иллюзиях и дожде.

И вот на иллюзиях мне хочется остановиться чуть подробнее. Потому что о них можно сказать и: «Увы, я ещё не утратил свои иллюзии», а можно сказать: «Хорошо, что я их ещё не утратил». Ибо, с одной стороны, иллюзии – это тяжкое бремя. И это так. Безусловно так. Но только с одной стороны... Другая же сторона заключается в том, что иллюзии не являются тяжким бременем. А наоборот, бывают тем лекарством, тем чудесным снадобьем для многих ныне и не ныне живущих и живших. Отнимете у человека его мечты, его фантазии и грёзы – вы его не узнаете... Он сразу же постареет на много лет, поскольку вы убьёте в нём самое лучшее – его надежды.

О дожде же мне хочется поговорить, во-первых, потому что я люблю дождь. И, во-вторых, потому что о нём, о непогоде, об этих серых призрачных днях, так хорошо написал в своей повести «Что может быть лучше плохой погоды...» болгарский писатель Богомил Райнов.

Всё, заканчиваю. Никак не могу остановиться. А написал я сегодня немало для себя. Целых пять рукописных страниц! Обычная же моя норма: полторы-две страницы.

Итак, до понедельника, дорогой мой гипотетический читатель. Тем более что уже первый час дня. Засиделся я сегодня за столом. Может быть, оттого, что писалось, хоть и не очень легко, но всё же без особого напряжения.

Карасишка перебрался с паласа на табуретку на противоположный от меня конец стола. Сел там, положив передние лапки как примерный ученик кладёт руки на парту, на узенький подоконник окна и с интересом наблюдает за бабочками и птицами, за которыми в течение почти недельного дождя он наблюдать не мог. Потому что их попросту не было. Видно и им затяжное ненастье не нравится, и они где-то прячутся от него.

### ***23 июля 2012 года. Понедельник. Порт Байкал. 11.40***

Сел сегодня за стол в 10.10. И вот, до сего времени вычитывал, делал вставки в уже написанное ранее, что-то выправлял.

На выходные собирался приехать Дима со Светой и с друзьями, но, по-видимому, их испугал начавшийся в субботу с ночи дождь. А приятели сына и его жены хотели разместиться не в двух гостевых наших комнатах на втором этаже, а в палатке.

Одно лето у нас так гостила Димина знакомая по Интернету. Очень славная девушка, приходившая по утрам ко мне на веранду, пока Дмитрий ещё спал на втором этаже, за кипятком.

Когда я предлагал ей жить в доме, она, виновато улыбаясь, словно боясь обидеть отказом, говорила:

– Вы знаете, я всю зиму мечтала на Байкале в палатке пожить. А зима у нас в Архангельске ох какая долгая... – Слова она произносила протяжно, чуть нараспев.

Впрочем, тогда в палатке жить было одно удовольствие. То лето не было таким дождливым, как нынешнее. И ночи в августе, когда она приезжала, были тёплыми.

Я что-то не припомню в этих местах таких затяжных дождей. Не исключено, что нынешнее лето местные жители назовут потом как «Дождливое лето 2012 года». А в такое лето сено заготовить на зиму ещё оставшейся кое у кого скотинки совсем не просто. И в этом для местных основная беда.

Кстати, а впрочем, совсем некстати сегодня ночью, как и все выходные (с небольшими перерывами), лил дождь.

Прозрачная дождевая вода заполнила уже все низины на участке. По тропинкам текут ручьи. А в дорожных колеях, за забором, весело журчат настоящие речушки, устремляющиеся с нашей горы вниз, к Байкалу.



И мне в шуме дождя, когда я работал на веранде, всё чудились чьи-то отдалённые голоса или близкие шаги...

Шаги, впрочем, сегодня действительно были. Меня, несмотря на дождь, навестил поэт Владимир Скиф, поднявшись на нашу гору за грибами. И мы с ним немного посидели на раскладных стульях под навесом над крыльцом. И даже поговорили о чём-то незначительном, сиюминутном. Или, как он сказал, перед тем как уйти: «Помолчали на брудершафт, ну и ладно».

Конечно, мне хотелось бы, чтобы это были шаги той, ещё неизвестной здесь, дамы, которая, как и Володя, не испугавшись дождя, приехала ко мне на дачу в минувшую субботу. Не предупредив заранее, наудачу. Надеюсь на то, что в дождь никто не приедет и я буду на даче один. Такая вот нечаянная радость, которую не чаяли мы встретить. И мы с ней провели здесь действительно, несмотря на дождь, два чудесных дня. Тоже посиживая иногда вот тут же под навесом на крыльце в раскладных креслах. Потеплее одевшись, мы любовались, обычно после ужина, чудесным видом на Байкал, на закат. Разговаривали, молчали. Слушали, как дождь неистово стучит по железу крыши над нами, а то вдруг стихает и как будто что-то шепчет, нам двоим о своих сокровенных тайнах. И под этот его славный шепоток о чём-то ведомом только ему – дождю, о чём ему так хочется поведать нам, мне даже, хоть и не сразу, припомнилось стихотворение японского поэта Сётэцу. Родившегося через год после Куликовской битвы (почему-то именно такая аналогия пришла мне на ум, когда я вспоминал его стихотворение и дату его рождения), в 1381 году:

Целую ночь напролёт  
Он голоса приносит.  
Здесь ушло в облака  
Столько людских поколений!  
Дождь над старой деревней.

Я не стал читать это грустное стихотворение сидящей рядом даме, произнеся его мысленно. А когда она спросила:

– О чём ты задумался? Что-то тебя печалит?

Я, повернувшись к ней, улыбнулся и, как мне показалось, непринуждённо ответил:

– Так, ни о чём. Пустяки. Не обращай внимания. Просто грустно, что тебе завтра уезжать.

– Я ещё приеду... – пообещала она, погладив мою руку, лежащую на подлокотнике кресла.

И в этом обещании была как раз иллюзия, надежда на новую встречу. И грусть от скорого расставания.

В воскресенье я проводил её на четырёхчасовой паром, и совершенно мокрый, потому что на обратном пути, уже, казалось, утомившийся и уставший от самого себя, дождь припустил с новой силой, вернулся на дачу. И здесь в пустом и тихом доме, стоя у порога и наблюдая, как вокруг меня от стекающей с одежды воды образуется лужа, мне сделалось вдруг так грустно и одиноко. И если б не Карасик – эта живая душа, подошедший ко мне и так смешно, с негодованием фыркнувший на лужицу возле моих ног, то было б и совсем неважно.

Переодевшись в сухое, потерев пол, я стал готовить ужин.

Вернее, мне надо было только разогреть еду, уже приготовленную, с запасом на несколько дней (в том числе и борщом на обеды), уехавшей сегодня дамой. И, разогревая в небольшой сковородке бефстроганов с гречкой (большую сковороду с этим блюдом, отделив от него достаточную для ужина порцию, я поставил в холодильник), я всё думал об этой даме, о наших с ней отношениях, о том, выйдет ли что-то из всего этого... Или, может быть, всё закончиться, как в прошлом году, с той другой, известной дамой?

Пока еда разогревалась на плитке, я сделал ещё салат и налил в жёлтый керамический стакан красного вина. Вчера после бани мы пили с ней вино именно из этих стаканов.

Карасишке сварил кусочки мяса с морковкой – он это блюдо любит, по-моему, даже больше минтая.

Вымыв после трапезы посуду, решил позвонить уехавшей даме. Узнать, как она добралась до дома. И добралась ли уже? Хотя, по времени, должна бы.

Только я подумал об этом, раздался звонок. Звонила она. Её имя и номер телефона высветились у меня на крохотном экранчике мобильного телефона.

Однако не успели мы сказать друг другу и нескольких фраз, как связь оборвалась.

Я собрался уж было соответственно погоде экипировавшись, отправиться звонить на «Фонарь» – это такая горушка над Байкалом, на которой связь всегда устойчива, но снова раздался сигнал телефона. Пришла эсэмэска:

«Володенька, связь пропала. Сообщаю: добралась удачно (Она уехала на пароме в 15.50, а SMS-ка пришла в 18.30), без происшествий. Чем дальше уезжала от тебя, тем более грустно мне становилось. Целую. Твоя Н.»

Дождь наконец-то перестал. Курятся близкие горы. Из-за плавных полукруглых вершин берёз и осин по их склонам они кажутся все в плавных зелёных кудрях или волнах...

#### **24 июля 2012 года. Вторник. Порт Байкал. 10.25**

Вычитал написанное вчера. Отнёс Евгению в подарок срезанный утром гриб. И вот (*закончилась паста в ручке, которой начал писать этот рассказ 16 июля, взял другую*), приступаю к новым шагам по невидимой лестнице, неведомо куда ведущей – вверх или вниз. Хотелось бы, чтоб вверх.

Помнится, я обещал рассказать об ещё одной даме. В рассказе их две – известная и неизвестная дама. Однако так и не сделал этого вчера. Не успел.

Надеюсь, что мне это удастся сделать сегодня, поскольку о ней (известной даме) уже было написано в предыдущих вариантах рассказа. И я просто кое-что оттуда включу в канву уже нового рассказа. Итак, фрагменты из предыдущих вариантов рассказа:

«16 июля 2012 года, понедельник. Порт Байкал. 10 часов утра.

По железной крыше веранды, где я пишу (вернее, пытаюсь начать работать над новым рассказом), сидя за круглым столом у широкого окна слева от меня (и которое жена моя Наташа из года в год всё собиралась проолифить, а затем покрыть лаком. Теперь это намереваюсь, правда, с тем же успехом, сделать я), то устало (ибо, с небольшими перерывами, дождь идёт уже третьи сутки), то вдруг озорно и весело, то напористо, как сегодня ночью, не переставая тарабанит дождь.

На веранде чисто, тепло уютно.

Я затопил в доме печь, открыв настежь дверь, чтобы оттуда сюда шло тепло.

Мне слышно, как ровно поёт огонь, как потрескивают поленья (жаль, что у меня нет камина, хорошо было бы ещё и видеть этот чарующий танец огня), как протяжно гудит в трубе. Тяга у меня в печи хорошая. Спасибо местному мастеру Саше Деркачу, что он так удачно сложил печь. Я помню, как это было, уже в конце октября. Пасмурно, холодно, сыро. Я был подручным: просеивал и замешивал глину, подавал Саше кирпичи. А он вёл кладку. Причём делал это всё одной рукой. Вторую он поранил дня за три до того бензопилой. К счастью, не очень сильно. Может быть, от того, что работать мастеру пришлось одной рукой, и труба у печи получилась малость кривоватая. Хотя тяги это не испортило.

Гудение в трубе и треск поленьев немного настораживают и даже пугают Карасика. Для него это новые звуки. И он, чуть ли не ползком, пробирается с веранды в открытую дверь дома. Время от времени, принюхиваясь и прислушиваясь к чему-то, прекращая движение.

Однако любопытство в конце концов берёт верх и, подобравшись к печной духовке с открытой дверцей, он, примерно на расстоянии полуметра от неё, привстаёт на задних лапках и вбирает в себя, втягивая носом, тёплый воздух, исходящий из тёмного её чрева. А потом, успокоившись, и вовсе ложится на мягкую подстилку раскладного кресла, стоящего напротив неё, и блаженно засыпает в токах тёплого воздуха, исходящего от печи и открытой духовки.

На горе, где стоит моя дача – ни души.

Кругом только мокрая, прибитая дождём зелень травы и притихшая зелень листвы деревьев, не колышима даже лёгким ветерком.

Из трубы у моего ближайшего соседа по даче Женьки Серебрянникова вяловато поднимается в серое небо белый игривый дымок.

Труба с этой стороны его дома каминная. Значит, он топит камин. И, возможно, лежит или сидит перед ним на большой упругой и мягкой одновременно шкуре бурого медведя, которого добыл на Камчатке, глядя на огонь и слушая свой любимый джаз. А может быть, в тиши читая книгу...

Да, именно эта мысль – о читающем человеке, читателе вообще, пусть даже гипотетическом. О том, что кто-то, возможно и неведомый тебе, прочтёт впоследствии эти строки, которые, если, конечно, мне хорошо удастся это сделать, переживут и меня, и нашего рыжего, как это не прискорбно, кота Карасика, который, съев утром две своих положенных мойвы, сейчас так сладко спит, перебравшись уже на мягкую подстилку рундука. Видимо, у печи ему стало жарко.

Рундук этот – для обуви, дров и прочих некаждодневных вещей, я сделал лет пять назад по просьбе жены, у задней, скошенной, как крыша мансарды, стенки веранды, за лестницей, ведущей на второй этаж, где у нас две гостевые комнаты.

Правда, когда народу бывает много, рундук служит ещё одним дополнительным спальным местом. Но об этом чуть позже. Это будет ещё одна скрытая новелла: «О рундуке и его обитателях»...

А вчера у нас тут на горе, в отличие от сегодня, было весьма многолюдно и, пожалуй, даже весело...

Написал это, и отчего-то вдруг вспомнилась Димина фраза: «Мне никогда не бывает скучно. Разве что в большой компании...»

В субботу мы все – трое более-менее постоянных обитателей этой части горы. Женя Серебрянников, отчаянный путешественник, объездивший весь мир. Поработавший в своё время, и на Камчатке, и на Командорских островах. Обошедший на яхте почти все моря и океаны. С недавнего времени предпочитающий проводить зиму на Филиппинах и так объясняющий это своё предпочтение: «Надоели долгие холода. И особенно жуткие здесь – декабрь и январь». На лето же он снова возвращается сюда – на Байкал. «Тянет, как магнит железо», – говорит. Женя давнишний разведенец и давно уже убеждённый холостяк.

Я – вот уже более трёх лет вдовец.

И – Александр Станиславович Маджаров, также близкий наш сосед. Профессор классического университета, а не какого-нибудь там ПТУ (профессионально-технического училища), ставшего в одночасье, в 90-е годы прошлого века, то «университетом», то даже «академией» какой-нибудь. Много сейчас таких развелось. Правда, образование там по-прежнему, как в ПТУ, а диплом университетский. А институтов и вообще ныне почти не осталось. Все метят выше...

**25 июля 2012 года. Среда. Порт Байкал. 9.55.**

Сел сегодня за стол в 9.35. По обыкновению, вычитал написанное накануне. И понял, что я снова ничего не написал об известной даме. Ну, да напишу ещё. Не доходят у меня до неё руки.

Дождя, слава богу, нет. Хотя, как это ни странно, я, по-видимому, человек дождя. Люблю его. Конечно, если он не двухнедельный. Прав был Парацельс, утверждая, что: «Всё лекарство. И всё яд. Мера всему цена». В том числе и мера природным явлениям: жаре, дождю, холодам, снегопадам, ненастьям...

«Отчего душе моей сродни – пасмурные дни? Отчего люблю песок сыпучий с тёмною полоской у воды? Запах торфа, грозовые тучи. В дюнах цапли тонкие следы?» – вот вспомнилось из Игоря Шкляревского, моего любимого поэта. Наверное, потому что и я всё это люблю. Осеннее ненастье, грустное серое небо, улетающих на юг печальных журавлей, бодрящую прохладу коротких осенних дней. И этот неповторимый, грустный, мокрый запах увяданья...

*Сейчас на радиостанции «Маяк» прослушал десятичасовые новости, в которых не было почти, как и обычно, впрочем, ничего особо нового.*

*Где-то в детском саду несвежими овощами отравились дети. Об автомобильных, авиационных и прочих авариях, отравлениях недоброкачественными продуктами питания говорят каждый день...*

*А вот уже что-то близкое к нашим Палестинам:*

*«В Бодайбинском районе Иркутской области посёлки Перевоз и Кропоткино остались отрезанными от мира. Затяжными дождями там размыло дороги, а взбухшие реки сорвали мосты, ведущие к этим населённым пунктам...»*

*«Двухлетний мальчишка на юго-западе Москвы выпал из окна шестого этажа, когда нанятая родителями няня отправилась готовить обед...»*

*«В Ставропольском крае, у подножия горы Машук, найдено тело разыскиваемой девятилетней Ани Прокопенко. Следствием установлено, что девочка была изнасилована, а затем убита...»*

*«В Шотландии опрошено 77 тысяч человек. Две трети из них высказались за принятие закона о легализации однополых браков...»*

*«Чемпион мира по самбо Расул Мирзаев принёс в суде извинение родителям девятнадцатилетнего студента Ивана Агафонова, скончавшегося год назад от его удара, полученного им в центре Москвы возле ночного кафе...»*

*«Омск прислал машину гуманитарной помощи Крымску, пострадавшему от наводнения...»*

*«Сегодня день памяти поэта и актёра Владимира Высоцкого. Спектакль, посвящённый ему, покажет нынешний руководитель Театра на Таганке Валерий Золотухин, давнишний друг и коллега актёра по сцене этого прославленного театра...»*

Мне вспомнился 1980 год. Моя первая двухнедельная туристическая поездка за границу, в Германию (тогда ещё ГДР – восточная часть страны, ставшая самостоятельным государством после второй мировой войны) и Польшу. И как я через две недели возвращался ночным поездом из Варшавы в Союз.

Утром, 25 июля, на Белорусском вокзале меня встречал мой друг, журналист, работающий тогда в журнале «Советский экран», Андрей Данилов. И первое, что он сказал, после того как мы обнялись:

– Высоцкий умер. – И после недолгой паузы: – У меня есть пропуск для прессы, можем пойти на Таганку на церемонию прощания. Марина Влади из Парижа прилетела. Да и все актёры театра там будут во главе с режиссёром Любимовым... Если хочешь, конечно, – добавил он.

– Не хочу, Андрюха. Не хочу его видеть мёртвым.

– Ну, как знаешь. Мне-то всё равно придётся идти.

Встреча наша с давнишним другом оказалась, таким образом, с горчинкой.

Но, оставшись в Москве ещё на какое-то время, чтобы хоть что-то успеть посмотреть из Олимпийских игр, начавшихся когда я был ещё в Польше и проходивших тогда в Москве, я эту горечь очень быстро рассеял, посещая различные соревнования и чувствуя этот бодрящий дух соперничества, дух Олимпиады. Да и не было, честно говоря, у меня особой горечи. Ведь человек умер от своего же порока.

А через несколько дней Андрюха (я жил в Москве у него) принёс машинописную толстенную рукопись стихов Владимира Высоцкого, которая называлась «Нерв». Под этим названием она потом и вышла отдельной книгой. И помню, как я изумился беспомощности большинства стихов, их несовершенству, их какой-то поспешности, что ли...

Во всяком случае, меня они почти не тронули. Хотя, наверное, с класса десятого я был знаком с магнитофонными (тогда ещё катушечными) записями песен Высоцкого. И от этого многие напечатанные в рукописи тексты знал наизусть. И помню, как они мне нравились в песнях. Точнее сказать, нравились песни. Ибо в них присутствовало некоторое неповторимое сочетание своеобразного, с хрипотцой, голоса, часто оригинальной музыки, и блестящего актёрского исполнения. Стихия напора в них была точно.

Вообще, я думаю, что Высоцкий, прежде всего, прекрасный актёр. Вспомните его великолепные роли в фильмах: «Короткие встречи», Киры Муратовой; «Вертикаль», Станислава Говорухина; «Служили два товарища», «Место встречи изменить нельзя», да и «Маленькие трагедии», даже... Потом, он очень хороший бард и исполнитель своих песен. Но он, увы, всё-таки, как мне кажется, не поэт. Или, так скажем, весьма средний поэт...

Обычно, прослушав новости на «Маяке», волны которого только и ловятся у меня на даче, я выключаю радиоприёмник.

Хотя прежде, в конце 60—70-х годов двадцатого века, я так любил эту радиостанцию. Ей, кстати, в нынешнем году 1 августа исполняется 48 лет.

Сколько раз, сидя в каком-нибудь занесённом по самую крышу снегом зимовье, посреди неохватного глазом, даже с вертолёта, зелёного моря тайги, на очередной «Промысловой практике» я слушал вечерами по транзисторному радиоприёмнику «Маяк».

Раз в полчаса передавали новости. Они, в отличие от нынешних – в основном негативных, были по большей части позитивны, даже можно сказать оптимистичны! А после новостей, до следующего их выпуска, минут двадцать пять звучала хорошая музыка.

С некоторых пор (я даже не заметил, когда это точно произошло, скорее всего, с середины восьмидесятых годов прошлого века, когда в стране разразилась, как заразная болезнь, так называемая «Перестройка») «Маяк» превратился в некий клуб «говорунов-смехачей» обоего пола, обсуждающих порой придуманные ими же, несущественные проблемы. Такие, например, как: «Своевременная эрекция», «Последние разводы в шоу-бизнесе», «Свобода слова и свобода Интернета»...

Причём разговор ведут, часто перебивая друг друга, два-три ведущих, постоянно хохочущих над своими же, чаще всего пошлыми, шутками. И говорят-то они, в основном, на неком

сленге, а не на нормальном русском языке. И во что бы то ни стало стремятся рассмешить ещё и слушателей. Будто это и есть их основная задача, чтобы вместе с ними хохотала вся страна.

Одним словом, сборище трепачей, несущих какой-то несусветный бред, слушать который нормальному человеку просто неважноту. «Мир вывихнул суставы», – говорил о подобных вещах Шекспир. Я же от себя добавлю: «Кроме всего прочего, миновала эпоха героев. Настала эпоха лидеров...» А лидер тем и отличается от героя, что ради своей выгоды пройдет не только по трупам конкурентов, но и своих друзей.

Но я отвлёкся.

Итак, 14 июля, в субботу, Александр Станиславович Маджаров, как я уже говорил: профессор, историк, примерный семьянин, бард... Несколько песен у него написано и на мои стихи. Особенно ему удалась, на мой взгляд, та, в которой есть слова: «Никогда нигуда не хочу уезжать. А всегда возвращаться хочу, приезжать...» Эти стихи, ставшие затем песней, я когда-то посвятил своей жене Наташе в книге «Памяти солнечный зайчик»...

Пожалуй, Сашу можно назвать ещё и художником. Ибо он создаёт из подобранного им на берегу Байкала (во время рыбалки) подручного материала: камешков, стекляшек, деревяшек, обточенных волнами, чудесные картинки – инсталляции. И ещё, может быть, он в какой-то мере литератор, поскольку пишет песни не только на чужие стихи, но и на свои собственные. Пишет и рассказы.

Кроме того, он ещё ведёт на городском радио придуманную и осуществлённую им передачу «Мелодии моей души». Очень интересно рассказывая в ней о великих певцах и композиторах. Таких, например, как Фридерик Шопен, Исаак Дунаевский, Лидия Русланова, Александр Вертинский, Леонид Утёсов, Пётр Лещенко, Клавдия Шульженко, Марк Бернес, Муслим Магомаев, Валерий Ободзинский, Джо Дассен, Майя Кристалинская...

Список можно было бы продолжить, но и из перечисленных имён видно, что создатель и ведущий данной радиопередачи обладает незаурядным эстетическим и музыкальным вкусом. Поскольку в представленном перечне имён нет ни одного из кумиров нынешней, увы, весьма низкопробной эстрады. Да и концерты современных звёзд шоу-бизнеса (точнее было бы сказать, шоу-зверинца) могут запомниться не голосами, а разве что телом. Особенно это свойственно безголосым, в большинстве своём, нынешним певицам. И я заметил, что чем меньше у «певицы» таланта и голоса – тем больше в её представлении «обнажёнки». Хотя чем-то надо же со сцены выделиться, и если не пленить, то хотя бы ошарашить публику. Вот и удивляют – телесами да «подтанцовкой» ещё. С кривляющимися рядом, с так называемыми певцами, заходящейся в каком-то неистовстве массовой подпевал и подтанцовщиков...

Очередная, более чем часовая передача, в трёх частях, записанная на радио Александром Станиславовичем, была посвящена Сергею Яковлевичу Лемешеву. Вышла она в конце июня к 110-летнему юбилею певца, родившемуся 10 июля 1902 года.

Причём автор проекта «Мелодии моей души» долго колебался, о ком сначала сделать передачу: о Лемешеве или Викторе Цое, у которого в этом году тоже юбилей. Ему исполнилось бы пятьдесят.

Пересилил всё же Лемешев.

О нём Саша и заговорил со мной, навестив перед обедом.

Мы сидели на ступенях крыльца, смотрели на Байкал и неспешно говорили о том о сём. Вернее, в основном говорил Александр, а я прилежно слушал:

– Представляешь, и центральное телевидение, и основные радиоканалы лишь вскользь упомянули о юбилее Лемешева. Зато о Цое трещат с утра до вечера. Но согласись, что это отнюдь не равнозначные фигуры?

В знак согласия я кивал головой. Хотя согласия особого Саша от меня и не требовал, продолжая говорить:

– Цой, конечно, талантливый человек, но Лемешев-то – глыба! Давайте соберёмся сегодня и, хотя бы с опозданием, отметим его юбилей. Заодно можем и передачу о нём послушать. Я диск с собой из города прихватил. Как ты?

– Саша, ты же знаешь, что я по субботам топлю баню. Женька, насколько мне известно, тоже собирается баню топить. Во всяком случае, я видел, что он ходил в лес за пихтовым веником. Так что не хотелось бы эти два мероприятия совмещать. Удовольствия ведь надо не сжимать, а растягивать по возможности. Давай послушаем твою передачу завтра. Тем более что она совсем не короткая.

– Можно и завтра, – как-то спокойно согласился Александр. – К тебе, кстати, на выходные никто не приедет?

– Надеюсь, что нет. Вчера звонила одна знакомая, кстати, в том числе и тебе по прошлому году, дама. Спрашивала, не могу ли я приютить её с подругами на два дня? Одна из подруг балерина из Киева, а не какой-нибудь там тебе «зубной техник», как было у Остапа Бендера в «Золотом телёнке». А вообще их собиравлось, вместе с ребёнком, прибыть шесть человек! Получилось бы почти по две дамы на брата. Но я отказал.

– Почему?

– Потому что невозможно, Саша, как говаривали философы, дважды войти в одну и ту же реку. Посоветовал им устроиться внизу, в гостинице «У ручья».

– Анна, что ли, собиралась приехать? – догадался он о ком речь.

– Ну да...

– В прошлом году мы с Женькой думали, что у вас всё сладится. Особенно когда её очередные весёлые подруги уехали и вы остались вдвоём...

Я не стал ничего отвечать, и мы ещё какое-то время посидели на крыльце молча. А потом отправились к Женьке, договариваться на завтра. Тем более что компьютер, на котором мы могли бы прослушать передачу, был только у него.

Женька легко согласился с нашим предложением: устроить небольшой выпивон и обед вскладчину, предупредив, однако, что к нему на выходные должна приехать «знакомая тётенька», медсестра из той больницы, где он лежал по весне с какой-то болячкой.

– Скоро уж пойду к парому, встречать её. А потом в баньку свожу, да веничком пихтовым, для приятного телесного аромата, отхожу как следует. Кстати, она наполовину тунгуска, – не без гордости добавил он. – Экзотика, мужики! – даже зажмурился Женька от своих предчувствий. – Думаю, Аюна нам не помешает. Человек она тихий, спокойный, не в свои дела не лезет. Тем более что для неё у меня вся ночь. А для вас – весь день.

– Не перетрудишься, дружище, при таком-то круглосуточном графике, – пошутил я.

– Постараюсь, – хитро улыбнулся он. И добавил: – Так что чисто мужской компании не получится, уж извиняйте, мужики.

Договорились встретиться назавтра в час дня. Предварительно купив пива, хлеба, овощей и копчёного омуля. Дабы, неспешно попивая одно и поедая другое, с ещё большим удовольствием слушать песни в исполнении Лемешева, с необходимыми комментариями Александра Станиславовича, «нарытыми» им для передачи из разных и обычно малоизвестных источников...

### **26 июля 2012 года. Четверг. Порт Байкал. 10.30**

*В девятом часу, когда я готовил завтрак (батон, масло, сыр, колбаса, кофе, несколько долек чеснока, салатик из помидор, лука, огурцов), с того берега позвонил мой шурин Саша и сообщил, что они с его приятелем Лёшей везут мне доски – сороковку, которые я давно заказывал для прожилки забора. Ещё он известил, что на восьмичасовой паром им попасть не удалось – было слишком много машин. Так что придут одиннадцатым. Не знаю, как они заберутся на гору? Всю ночь опять лил дождь. Дорога раскисла.*



*Узнав о приезде гостей, решил обойти участок и собрать им в подарок грибов (поскольку уезжают они сегодня же четырёхчасовым паромом), чтобы они дома их поджарили с картошечкой! Изумительная вкуснятина!*

*Минут за пятнадцать собрал 22! гриба. Подосиновики, подберёзовики, два белых и один маслёнок, вылезшие после ночного дождя. Да всё ядрёные такие!*

*10.40. Начну вычитывать то, что написал, а вернее переписал, из написанного вчера. Там шесть с половиной страниц. Переписывать всегда ведь легче, чем писать. А я вчера, в основном, переписывал из ранее написанных вариантов.*

*Кстати, вчера так напахался после обеда за три с половиной часа, делая в доме черновой пол. В полусогнутом состоянии, на карачках работал под полом уже сделанным, беловым (хорошо, что хоть люк я в нём в своё время оставил), что уснул в половине девятого вечером, чуть ли не с книгой в руках. А сегодня проснулся, и то с трудом, почти в восемь, а не в половине восьмого, как обычно. Проспав, значит, больше одиннадцати часов.*

*11.40. Снова позвонил Саша. Они уже переправились на нашу сторону. Пойду их встречать. Потом буду кормить. А потом будем разгружать доски. Только бы они забрались сюда...*

#### **27 июля 2012 года. Пятница. Порт Байкал. 9.25**

*Заметил, что сегодняшнее число и номер страницы, на которой пишу, совпадают. Может быть, это добрая примета и писаться будет легко? А то вчера ведь так ничего почти и не сделал.*

... 15 июля, в воскресенье, с утра, как обычно, я пошёл в строящийся неподалёку от моего участка храм Преображения Господня.

Верхний придел, сооружаемый из брёвен, ещё строится. А нижний – сложенный из кирпича, уже готов. В нём-то и проходят субботние (вечером) и воскресные (утренние) службы.

По дороге к храму, до которого от моей калитки не более ста шагов, я вспомнил, как с молебна и закладного камня, кажется в 2006 году, начиналось его строительство. И как мы с Наташей радовались тому, что рядом с нами будет церковь.

А какое-то время спустя, мы ходили с ней на первую службу, девятнадцатого августа, лет пять, наверное, назад, в день храмового праздника – Преображения Господня.

Тогда ещё стояли только недостроенные до конца, кирпичные стены первого этажа, с пустыми оконными проёмами, в которых синело летнее небо. Не убраны были и строительные леса. А кое-где из утрамбованной ногами глинистой земли торчала арматура. Но день был такой чудесный, яркий, солнечный, не жаркий. И совсем старенький батюшка, отец Николай, из храма, расположенного на другой стороне озера, в посёлке Листвянка, в своём светлом облачении, у импровизированного амвона, казался таким нарядным и торжественным! И народу собралось немало. В основном, писатели и художники, живущие летом здесь в Порту Байкал, называемом, с лёгкой руки журналистов, любящих всевозможные сравнения, «Иркутским Переделкино».

Были на той службе и телевизионщики из Иркутска и Слюдянки, снимающие весь процесс первой литургии.

И небо над нами было такое синее-синее, глубокое-глубокое, бесконечное. И, глядя в эту бесконечность, легко верилось в вечность. И в этом бесконечном, вечном небе надо всеми

нами, не на такой уж большой высоте, плавно, неспешно, парили два коршуна. И отчего-то казалось, что оперение у этих больших птиц, было белое.

– Да, а Геночку-то нашего сегодня уже похоронили, – услышал я негромкий голос за своей спиной.

Обернувшись, узнал колоритного, с седой опрятной бородой, серебристыми волнистыми густыми волосами и голубыми, как это небо, глазами художника и писателя Валерия Нефедьева («Как я его сразу не заметил?»), прибывшего на праздник на автобусе из Иркутска вместе с телевизионщиками.

Я сразу понял, что он говорит о поэте Геннадии Гайде, моём соседе по дому в городе. Последние года два Гена болел – рак. И всё равно, всё это – его уход, было хоть и ожидаемо, но неожиданно тем не менее.

– Как умер?! – тоже шепотом спросил я, не придумав, ничего нового. И не дожидаясь ответа, продолжил: – Я же звонил ему и Денису (сын Гайды, священник из Питера, ухаживающий за ним в последние дни) несколько дней назад. Они собирались ко мне на дачу приехать на недельку. Погостить. Подышать свежим воздухом.

– Не приедут теперь, – как-то нехотя ответил Валера, неотрывно глядя на красиво и гордо парящих в небе птиц...

Значит, первая служба, судя по дате смерти Гайды, была в 2008 году.

А может быть, я что-то перепутал. И, возможно, это была вторая служба в недостроенном храме. Потому что точно помню эти праздничные литургии, среди стен без крыши, которых было две. И ничто ещё тогда не предвещало чёрного для меня 2009 года, когда не стало и Наташи.

На службе в храме я и встретил всех дам, намеревавшихся накануне остановиться на выходные у меня.

Именно об этом просила меня Анна, позвонив дня за два до нынешних выходных и сообщив, что к её лучшей подруге Татьяне, «с которой мы были у тебя, помнишь, в прошлом году, приехала из Киева её свекровь».

– Бывшая балерина, между прочим, – не давая мне вставить даже слово, продолжала Анна. – И очень хороший, кстати, интересный человек. Мать мужа Татьяны Руслана. Мы хотим показать ей «Кругобайкалку» (старая железная дорога, идущая вдоль Байкала от Порты Байкал – если двигаться на восток – до Слюдянки). В субботу на воскресной электричке мы приедем из Иркутска в Слюдянку, а оттуда – в Порт. И нам там надо будет где-то переночевать одну ночь, – по-прежнему, слышал я в мобильном телефоне приятный, неторопливый, но без пауз, голос Анны, когда-то так нравившейся мне.

Я сидел на верхней ступени лестницы (люк, открывающий вход в коридорчик гостевых комнат второго этажа, был откинут), где связь была более устойчива.

– А сколько вас будет? – перебил я Анну.

– Пять или шесть человек, – невинным голосом ответила она. Я, Татьяна, её сын Гриша, ты его тоже должен помнить, мы с ним и Татьяной к тебе приезжали. Правда, он сейчас здорово вырос. Почти молодой человек. Лидия Александровна, – по-видимому, вспомнив о моём вопросе, продолжила она. – Сестра Татьяны Наталья и подруга сестры Света.

«Всё как всегда, – подумал я. – Лучшая подруга Таня, не лучшая подруга Зина или Клава, а с ними чей-то ребёнок, которого я должен помнить, потому что он гостил у меня с мамой!»

– Вино, еду, постельное бельё мы привезём с собой, так что тебе никакой мороки с нами не будет, – закончила Анна, мажорно.

– Аня, – проговорил я в наконец-то образовавшуюся паузу, но в отличие от Анны, без всякого мажора и энтузиазма, – ты же знаешь, мне столько человек не разместить. У меня только пять стационарных спальных мест для гостей, учитывая и рундук на веранде.

– Ничего страшного, – оптимистично подхватила она. – У тебя же, насколько я помню, в двух комнатах на втором этаже по две кровати в каждой. Таня с Гришей на одной улягутся, он всё-таки ещё не такой здоровый парень. Свекровь – в комнате с ними на второй. А мы трое, вповалочку – в соседней комнатке устроимся. Или кого-то, по жребию, отправим спать на рундук. Да я и сама могу там примоститься. Ближе к тебе буду (когда-то я серьёзно воспринимал её слова). Вернее, к твоей запертой в дом двери. Ты же в дом никого не пускаешь, – кокетливо закончила Анна распределение мест. Хотя, конечно же, помнила, что в доме мы с ней тогда и жили, когда остались одни. В первую неделю осени. И это была осень на двоих. И баня – на двоих. И – кровать...

Когда-то мы были очень близки с этой девушкой. Несмотря даже на более чем двадцатилетнюю разницу в возрасте...

Тогда, в их первый приезд ко мне на дачу, я уже более года был вдовцом. И никак не мог избавиться от постоянно гнетущей меня тоски по жене. Которой мне так не доставало. Наверное, так же калеке, до конца дней его, недостаёт, может быть, и когда-то очень давно, отрезанной руки. И любая вещь напоминающая мне о ней: собранные на берегу Байкала во время нашей прогулки маленькие цветные камешки, положенные потом в пустую солонку, так и оставшуюся стоять на столе; книги, с её карандашными пометками; берестяной «обруч» для волос – вызывали у меня душевную тоску. В такие минуты мне казалось, что уже закрывшаяся было рана открывалась вновь, причиняя мне прежнюю боль.

И тут, на излёте лета, приехала Анна с Татьяной, её сыном Гришей и ещё какая-то их подруга, имени которой я не запомнил. Но зато запомнил, что у неё был просто шикарный бюст, который она старалась не очень-то и скрывать под назойливыми одеждами. Как удачливый игрок не скрывает, что у него имеется козырный туз.

Ещё помню, что последний день лета, 31 августа, пришёлся тогда, кажется, на воскресенье. Точно, воскресенье, потому что накануне была баня. Сначала парились дамы, а потом мы с Гришей.

И тот субботний день, помнится, был очень тёплый. И когда мы вышли из бани, на полянке уже стоял стол и две лавки. Над углями костра неподалёку, источая дразнящий аромат, румянились на шампурах большие куски мяса, перемежающиеся луком и дольками помидора. Красное вино было в тёмных бутылках, водка, пиво, зелень. Да, широко решили девушки отметить банный день! И помнится ещё, что после долгого застолья, в сумерках, когда полянка, на которой мы расположились, освещалась уже только светом из окон близкого дома и веранды, я отправился спать, оставив гостей у догорающего костерка одних. И как ещё долго потом в открытую, с сеткой от насекомых, форточку окна в доме были слышны песни, распеваемые неугомонными дамами. А иногда вдруг наступала тишина, и через какое-то время слышался их дружный и весёлый смех.

Но я отвлёкся. Итак, в последний день лета, после отнюдь не раннего завтрака, мы все отправились на Белые камни. Вершина скалы у истока Ангары. Оттуда открывается чудесный вид на Байкал, на его противоположный берег, такой близкий здесь, и быструю Ангару, и Шаман – камень, торчащий из воды на середине реки, стремящейся к Енисею, прочь от старика – Байкала. Помню, что мы все уселись на эти тёплые от солнечного света камни и любовались просторным видом, открывающимся сверху.

– Владимир, у тебя же есть стихи, посвящённые последнему летнему дню. Прочти, пожалуйста, а я запишу это всё на камеру мобильного. Только прочти с выражением, как ты можешь, как вчера нам читал, – попросила Анна.

– Аня, стихи надо читать не с выражением, а выразительно, – ответил я. Отчего-то вспомнив, как мы с ней вчера, в комнате на втором этаже, первый раз поцеловались. Оттуда ей вздумалось полюбоваться звёздами, и она попросила меня проводить её, когда я уже засобирался уходить в дом спать.

– А то ещё грохнусь где-нибудь на лестнице спьяну! – смеясь, проговорила она. – Поскольку, наверное, стакана два вина я сегодня под шашлыки выпила, а для меня это очень большая доза.

И как это было неожиданно для нас обоих. И трепетно и волнующе. Этот первый, такой ещё робкий, разведывательный поцелуй...

– Ну, читай выразительно, – согласилась она, пребывая в какой-то несвойственной ей глубокой задумчивости.

И ещё я вспомнил, что стихотворение, которое Анна просила меня прочесть и которое было напечатано в книге «Сестра моя, Осень» (там, наверное, она его и углядела), было написано аж в 1972 году. Анна тогда, пожалуй, только родилась. А я после окончания института служил, вернее, проходил трёхмесячную военную подготовку в унылой степной местности – Читинской области. В Оловянинском районе, недалеко от села Безречное. Там у меня на шее выскочил чирей, и сержант – солдат-срочник, отправил меня в госпиталь, который находился километрах в двух от нашей единственной казармы, стоящей в степи возле тоже единственной, старой берёзы, выросшей когда-то очень давно у стены казармы, с её подветренной стороны. Народу на приём к врачу было немало, и я вышел из тесного коридорчика, где на стульях сидели люди, не желающие выходить под дождь во двор госпиталя, договорившись, что меня крикнут, когда подойдёт моя очередь. Помню, что я присел на корточки у дощатого забора, огораживающего небольшой пустырь с беседкой, прилегающий к барaku госпиталя, весь заросший полынью. Ещё помню, что нам уже выдали шинели. Хотя как там у поэта?

И листья ещё не истлели,  
И шапка ещё не нужна,  
но  
всё-таки  
выйти в шинели  
вчера приказал старшина.  
Мне так она впору сегодня  
под дождиком этим сквозным,  
и пахнет зимой прошлогодней,  
и потом,  
ещё не моим.

И вот, я сидел у серого сплошного забора, не желая пробираться через сплошные заросли полыни к беседке, в серой солдатской шинели, вдыхая запах полыни и радуясь несильному, едва моросящему дождю, сбивающему с травы серую пыль, и тому ещё, что в шинели мне было тепло. И вдруг, среди этого пасмурного неласкового дня, я вспомнил, что нынче 31 августа, последний день лета. И что уже в конце сентября нам присвоят звание лейтенантов и мы вернёмся домой... И тут же, на подобранной у забора и, как ни странно, почти сухой пачке «Беломора», разорвав её, на внутренней стороне, где не было рисунка, я написал карандашом, огрызок которого всегда лежал у меня в кармане гимнастёрки, это вот стихотворение:

Августа последний день.  
Завтра лето кончится.  
Ну а людям всё равно  
Ещё лета хочется.  
Ещё хочется тепла,  
И любви нечаянной.  
Ветер в тополях разлит

Музыкой прощальною...  
День последний не спеши.  
Дай ещё нам света.  
Здравствуй, осень.  
Здравствуй, грусть.  
До свиданья, лето...

Это стихотворение я и прочёл там, на Белых камнях...

Вечером того же дня Татьяна уехала в город. Ей надо было завтра, 1 сентября, вести Гришу в школу, на торжественную линейку. С ней укатила и пышногрудая Зинаида (накопец-то вспомнил, как её звали), которая так и не сумела уговорить меня сделать ей после бани массаж позвоночника. «Чтоб от шеи и аж до самого копчика, хотелось бы всё промять, а то спина порою что-то плохо слушается, – говорила она кокетливо, нараспев. – Тем более что девки наши, знаю уж, парильщицы так себе, через полчаса выскочат из бани. А я вас там, на полочке дождусь. Вы наверняка сможете сделать хороший массаж, руки-то у вас вон какие сильные. Ну, а за труды сии тяжкие я вас уж как-нибудь отблагодарю», – весело уговаривала она... Увы, ей в понедельник надо было на работу, и значит, тоже надо быть в городе. А то, глядишь, до чего-нибудь и договорились бы...

Помню, как, перед тем как отправиться на паром, Татьяна (наотрез отказавшаяся, чтобы мы провожали её: «Что это вы вниз с нами потащитесь, а потом опять на гору. Сами дойдём, не маленькие»), лукаво улыбаясь, напутствовала нас с Анной:

– Вы только тут себя без нас хорошо ведите. А вы, Владимир, Анечку не обижайте. Она у нас девушка славная и доверчивая.

– Не обижу, не волнуйтесь, – пообещал я.

Как только гости скрылись за калиткой, мы поднялись на второй этаж и начали целоваться. Причём с такой поспешностью, таким жаром, такой неуголённостью, будто два влюблённых человека наконец-то встретились после тягостной долгой разлуки. Губы подолгу не хотели размыкаться. И руки искали рук. И мне подумалось в тот дивный миг, что, может быть, Господь сжалился надо мной, послав эту девушку, с которой мы были едва знакомы. Встречаясь до этого ежегодно, раза три, наверное, лишь на днях рождения нашей общей знакомой, очень весёлой и компанейской женщины Жанны Богдановой, диктора Иркутского городского радио.

– А знаешь, что ты меня однажды спас? – шепотом спросила Анна, когда мы уже спустились в дом и, тоже поспешно, расположились там на кровати.

– Каким это образом? – искренне удивился я, чувствуя к этой прильнувшей ко мне всем телом девушке, превосходившей меня по росту, просыпающуюся влюблённость и нежность. Будто чувства мои вдруг очнулись от долгого летаргического сна и стали реагировать на действительность, не утопая больше, как в трясине, в беспросветной и вязкой тоске, сосущей моё сердце, словно леденец.

Тем более что это была первая, самая приятная, стадия влюблённости, когда ещё не ощущаешь себя пленником завладевшего тобою чувства. И когда предстоящее расставание совсем ещё не тягостно. Ибо после него остаются такие приятные воспоминания, а продолжение дальнейших отношений почти не мыслится.

На полу играли бледные лунные блики. Было тихо и хорошо. Наверное, оттого что спокойно.

– Я лежала в больнице, – продолжила Анна наш неспешный ночной разговор, – и мне было так плохо. Обнаружился застарелый аппендицит, готовый в любую минуту лопнуть. Отчего исход предстоящей операции был не ясен даже врачам, а уж мне-то тем более. И мог быть разным, в том числе и «с летальным исходом», как пишут в медицинских заключениях,

когда пациент отправляется на тот свет. И тут Жанна, навесившая меня перед операцией, дала мне почитать твою книгу «Предчувствие чудес».

– Хорошая книга, – чувствуя лёгкую приятную усталость после той бури чувственных неистовств, которая только что улеглась в нас обоих, вставил я. – И издатель её выпустил очень хороший – Гена Сапронов, царствие ему небесное.

– Так вот, я читала её и перед операцией и после. И чувствовала, как во мне что-то меняется к лучшему. Появляется не надежда, а твёрдая уверенность о том, что всё будет хорошо. И мне самой от этого становилось так хорошо и спокойно, – машинально водя указательным пальцем по моей не слишком волосатой груди, говорила Анна. – Я тебе потом несколько восторженных эсэмэсок отправила, после операции, когда пошла на поправку. Мне Жанна твой номер мобильного телефона дала. Но не на одну из них, увы, ответа так и не получила. Ты что, их не читал? – приподнялась она на локте, заглядывая мне в лицо.

– Читал, – ответил я.

– А почему тогда ничего не ответил?! – с ещё большим изумлением спросила она. – Тебе же это должно было быть, по идее, приятно, что у тебя появился новый, да ещё такой восторженный читатель?

– Я не умел. Да и сейчас не умею писать и отправлять эсэмэски. Я ведь, по сравнению с вами, молодыми, просто какой-то шерстистый носорог, вытаявший из вечной мерзлоты. И для меня мобильный телефон (который мне когда-то почти насильно купила моя жена Наташа, «чтобы не был на даче оторван от нас и от внешнего мира») – это лишь приспособление, по которому я могу с кем-то поговорить, нажав при вызове известную мне кнопку. Остальные его функции мне неведомы.

– Тундронд! – развеселилась Анна. – А я-то не на шутку обиделась. Думаю, такие хорошие рассказы! И такой чёрствый человек их пишет.

Склонившись ко мне, отчего я почувствовал упругость её небольшой, такой соблазнительной груди и бархатистость кожи, она поцеловала меня долгим нежным поцелуем. Ответить на который у меня уже просто не было сил.

– Спишь? – снова приподнявшись на локте, спросила Анна.

– Задрёмаваю, – продираясь сквозь пелену сна, ответил я.

– Ну, давай будем спать.

Она снова всем телом прильнула к моему боку. И, взявшись за руки, мы уснули, не желая расставаться даже во сне.

### ***30 июля 2012 года. Понедельник. Порт Байкал. 10.10***

*Сегодня проснулся в 7 часов. Начал работать в 9.35. Вычитал предыдущий фрагмент, написанный 27-го, в пятницу. Пятница у древних римлян считалась днём Венеры, богини любви*

*А сегодня, кстати, месяц, как я приехал на дачу. Это было 30 июня, в субботу. Поэтому, открыв в доме ставни, я сразу же стал топить баню, чтобы не нарушать субботнюю традицию...*

*А нынешние выходные, приехав ближе к вечеру в пятницу, у меня гостили Дима и Света.*

*И после бани, 28 июля, мы с ними справляли мои именины. Ведь это день «Равноапостольного великого киевского князя Владимира – крестителя Руси».*

*А днём в субботу, до бани, я в тот день неожиданно получал ото всех подарки.*

*Маджаров, которого я навестил, отправившись за пихтовым веником в лес, подарил два банана и персик.*

*– По банану вам с Димой, а персик Свете, – сказал он, кладя дары в пакет.*

*Саша Деркач – местный житель, встретив меня в магазине, куда я отправился за пивом, и, узнав, что у меня именины, затащил к себе домой. Благо домик его недалеко от магазина. Выдал литр козьего молока (он держит козу) и дал одного малосольного омуля.*

*– Да, Саша, – пошутил я, – подарочек у тебя такой, что если всё это употребить одновременно – трёхдневная свистуха точно будет обеспечена.*

*– Ничего, организму зато прочистишь, – улыбнулся он. – Я вот уже полгода не пью, – без плавного перехода переключился он на главную свою тему, – так он у меня теперь такой прочищенный, будь здоров!*

*Академик Гудков, мимо старой дачи которого я проходил (она теперь принадлежит его дочери Миле) и с которым я остановился поздороваться, завёл в дом. Налил себе и мне по рюмке водки и угостил на закуску... мороженым, достав его из морозильной камеры холодильника.*

*А вечером приехавшие соседи по даче, Пётр, его жена Светлана, дочь Лиза и малолетняя, недавно родившаяся у них Аня, пришедшие навестить меня, и узнав об именинах, быстро отправили Лизу домой, и она через какое-то время принесла довольно большой остаток брусничного пирога.*

*Вручив пирог и пожелав мне всего хорошего, соседи откланялись, а мы сели ужинать, радуясь тому, что наконец-то остались одни. Тем более что от большой сковороды, поставленной на стол на специальную металлическую подставку, так аппетитно пахло грибами и жареной картошкой. Грибы Света собрала днём на нашем участке.*

*И только мы приступили к еде, разложенной Светой по тарелкам, и пригубили по несколько глотков «Каберне», как с весёлыми шутками и смехом на веранде появилась моя давнишняя приятельница Нина Максименко. Тренер по стрельбе из лука, с которой мы в 1993 году принимали участие в велопробеге «Пекин – Париж». А рядом с ней нарисовалась и Людмила Адаскина, её подруга, главный бухгалтер областного спорткомитета. Они приехали на Байкал на выходные, остановились в гостинице «У Ручья», но, вспомнив о моих именинах, решили подняться на гору, прихватив с собой бутылочку «Медовухи», куриные котлеты и черёмуховый торт.*

*– Мы пришли тебя поздравить! – хором, как пионеры на линейке, проговорили они.*

*– Ну, пришли, так садитесь, – ответил я. – Мы как раз приступаем к трапезе. Молодцы, что пришли.*

*Вечер прошёл очень хорошо и весело. Но всё-таки совсем хорошо стало, когда мы остались втроём, вернее вчетвером: я, Дима, Света и Карасик, которого они зовут Рыжик...*



*Вчерашний, воскресный вечер был уже не таким весёлым, как субботний. Все разъехались. И мы с Карасишкой снова остались одни. «Ох уж, эта пытка расставанья с близкими людьми»... Грустно... И это ещё в лучшем случае.*

*А сегодня чувствуется, что загрустил и наш котёнок. Всё ходил, искал повсюду Диму, у которого провёл на руках или коленях почти два дня. К тому же Дмитрий его спаситель. Это он подобрал его года два назад, на городской набережной, совсем малюсеньким, слабым котёнком, который от истощения и пищать-то уже не мог. А только разевал беспомощно розовый ротик, глядя на ноги проходящих мимо людей. Голову он от слабости тоже поднять не мог, а потому не видел, что кто-то на ходу пьёт из бутылки или банки пиво, кто-то поглощает чипсы или ест мороженное. Проходившие мимо люди смеялись, шутили и никому не было дела до беспомощного маленького – не большие мячика для большого тенниса – бездомного рыжего котёнка, без сил лежащего у парапета набережной, моля о помощи, беззвучно разевающего ротик...*

*И его счастье, что и Дмитрий гулял в этот день по набережной.*

*«Как же я мог его не подобрать, – оправдывался потом передо мною сын, – всё-таки живая душа».*

*И сегодня Рыжик – эта живая душа, так и оставшийся по своим повадкам и поведению котёнок, а не вальяжным, ленивым котом, то забирался на второй этаж, смешно перебирая лапками на ступенях лестницы, то устремлялся в дом. При этом он время от времени жалобно мяукал, принюхивался к оставленным Димой тапочкам, ложился на них. А потом, найдя оставленную на кресле в доме футболку сына, улёгся на неё и уснул...*

*Итак, мне осталось жить на даче ещё три недели.*

*19 августа, в храмовый праздник местной церкви, я уеду в город. Поскольку уже 20 августа мы с Н., которая здесь для всех числится «Неизвестной дамой», отправляемся до 12 сентября в Туапсе, к её тётке. Отдохнуть, позагорать, покупаться в Чёрном море. Причём в оба конца мы едем поездом, в двухместном купе! Туда пять дней и обратно столько же. Благо, что билеты куплены в оба конца. Так что здесь на даче я смогу появиться только после 17 сентября, когда вернусь в Иркутск.*

*Причём уже второй раз летом я не буду присутствовать на храмовом празднике.*

*Года два назад меня уговорил «прервать моё дачное безвылазное сидение» «на пару дней» Андрей Григорьевич Румянцев, профессор Литературного института имени Горького, народный поэт Бурятии. И просто хороший поэт. Сообщив, что нас пригласили в Кутулик на празднование какой-то его некруглой годовщины, а заодно и на очередной день рождения рано ушедшего из жизни драматурга Александра Вампилова, прожившего в этом посёлке все детские и юношеские годы, вплоть до поступления в Иркутский госуниверситет, где тогда учились ставшие впоследствии известными всей стране писателями Валентин Распутин, Ким Балков, Виталий Зоркин, Юрий Скоп, Вячеслав Шугаев и другие.*

*– Тебя, – уточнил Андрей Григорьевич, – приглашают, поскольку ты родился в Кутулике, а меня как однокурсника Вампилова. Кстати, Кутулику в этом году 235 лет, – добавил Румянцев – и администрация посёлка решила приурочить празднование посёлка к дню рожде-*

ния Сани (Вампилов родился 19 августа 1937 года, а за два дня до своего 35-летия утонул в Байкале, в 1972 году.) Машина будет, – продолжал Андрей Григорьевич завлекать меня по телефону, зная, как я не люблю летом уезжать с дачи, даже на несколько дней, особенно если пишется. У меня обычно так: раз заехал – раз выехал. И всё лето здесь, на горе. – Так что и туда привезут, и обратно доставят. Даже конные бега грозятся для почётных гостей устроить! А мы с тобой там почётные гости, как заверил меня глава поселковой администрации, мой старинный приятель, кстати. Соглашайся.

*Ну, я и согласился, тем более зная бурятское гостеприимство.*

*И всё было именно так, как говорил Андрей Григорьевич. И бега тоже были (во второй ручке закончилась паста, взял третью). И мы с Румянцевым даже поставили ставки на лошадь по кличке Авантюрист. Пологая, что в наше время именно люди такого склада и добиваются в жизни успеха и власти. Отчего же тогда и лошади с подобным именем не прийти к финишу первой.*

*К счастью, мы оба ошиблись, а потому и проиграли, поскольку у лошадей всё ещё было по старинке. Как в добрые старые времена. И победы поэтому у них доставались лучшим.*

*Однако пора вернуться к основному сюжету повествования.*

*Итак, следующий отрывок, из ранее написанного:*

... Через какое-то время, мы с Анной оба крепко уснули. И я чувствовал, что продолжаю глупо и счастливо улыбаться даже во сне. И, с одной стороны, уже полусонным нетвёрдым сознанием я ощущал себя почти счастливым, а с другой стороны – в какой-то мере предателем по отношению к Наташе, хоть и ушедшей в мир иной. «Но ведь Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых, ибо у него все живы». И мы ведь с нею были венчаны. И я даже подписал ей свою книгу «Формула красоты», вышедшую незадолго до нашего венчания в Богоявленском храме, так: «Наташе, в день нашего венчания 22 июля 2001 года, в первый год третьего тысячелетия. Ибо венчание – это когда хочется быть с любимым человеком не только при жизни, но и после оной...»

Наташа отчего-то всегда просила подписывать ей мои новые книги.

– Зачем тебе это? – как-то спросил я её.

– А я про тебя, когда буду на «пенсии», мемуар напишу, – почти серьёзно ответила она.

И ещё, хоть и во сне, я всё же чувствовал, что стройные ноги Анны значительно длиннее моих. Впрочем, ни разница в росте, ни в возрасте не казались нам в те дивные минуты чем-то существенным, способным как-то образом повлиять на наши отношения.

А потом, после первой сентябрьской недели, проведённой вдвоём, во время которой она не раз шутила: «Если не можешь жениться на мне, то хотя бы удочери, чтобы нам не надо было расставаться». Она уехала, и я остался один.

Чего-чего, а одиночества у меня в последнее время всегда бывало в избытке. Были, конечно, и частые звонки, и длинные эсэмэски, приходившие от неё по несколько раз в день. Но разве всё это, даже голос, с его таким приятным, необычным тембром, могут заменить присутствие близкого человека?

А когда в начале октября мы встретились в городе, всё было уже как-то не так. По-другому. И я вдруг понял, что та неистовая недельная гроза, закружившая нас на даче в тёплые сентябрьские дни, когда казалось, что вот она, «Осень на двоих» в чистом виде, как это прекрасно описано в очень светлой и лиричной повести ещё одного нашего не очень дальнего

соседа по даче Владимира Жемчужникова, ушла куда-то. Как уходит по громоотводу в землю электрический заряд, исчезая там бесследно. И никаких больше искр между нами, ни от соприкосновения рук, ни от соприкосновения губ, не возникало. И губы и руки будто омертвели и уже не принадлежали нам.

«Что-то кончилось...» – это уже рассказ Хемингуэя, который так точно сумел описать даже не увядание, а внезапное, ничем не объяснимое порою, исчезновение любви. Или пусть даже влюблённости, уходящей навсегда, в никуда...

Анна всё никак не могла определиться со своей прежней привязанностью к женатому человеку, о котором я узнал, уже вернувшись в город. И когда звонила, говорила:

– Понимаешь, я не могу его выкинуть из сердца. А он не может расстаться с женой, потому что она стала калекой после автомобильной катастрофы, когда за рулём был он. И с тобой я тоже не могу и не хочу расставаться, – уже начинала она разводить очередную мокрень. И мне порой казалось, что её слёзы, так они были каждый раз неостановимы и обильны, вот-вот начнут капать из трубки моего домашнего телефона и замочат мне ухо. – Я тебе очень благодарна за ту чудесную неделю на Байкале. Я даже думала, что она окончательно излечила меня от моей ненормальной любви...

Однако быть лекарством от любви, пусть даже сильнодействующим, мне не хотелось

К тому же во время наших нечастых теперь встреч Анна стала воспринимать себя порой по отношению ко мне неким бесценным, очень капризным и очень дорогим к тому же подарком. Но драгоценных подарков я, во-первых, ни у кого не просил. Даже у Судьбы. А во-вторых, драгоценностей я не люблю. Может быть, поэтому вскоре Анна стала для меня как все. Вернее, как многие мои знакомые, долгие или не очень. И с трудом уже верилось в то, что была и страсть, и влюблённость, и нежность (именно в такой последовательности). Хватило, оказывается, всего нескольких эпизодов и нескольких встреч в этом осеннем стылом городе, чтобы всё предыдущее развеялось и улетучилось, как дым.

И теперь, разговаривая с ней по мобильному телефону, я её именно так и воспринимал. Как свою приятельницу, не более того.

– Нет, Аня, не получится, – ответил я, уже окончательно, на её настойчивый, несколько раз произнесённый уже до этого вопрос: «Смогут ли они у меня остановиться?» – Ко мне должны приехать гости, с которыми мы договорились заранее, – соврал я.

– Жаль, – обескураженно и как-то беспомощно, что так было несвойственно ей, – ответила она. – У тебя там, на горе, так здорово. Такой вид чудесный. Придётся в гостинице в посёлке устраиваться. Где кругом коровы, коровьи лепёхи, с соответствующими запахами, собаки, грязь и люди...

Людей она поставила в конце своего перечня. После коров, собак, «лепёх» и даже грязи. Ибо только человек может так нагадить другому человеку, что никакому животному и не снилось.

– А у меня сегодня день рождения, – не очень весело сказала Анна, когда мы после службы вышли из храма и остановились неподалёку от него, пока её подруги, задержавшись в свечной лавке, покупали там какие-то книги. – И хотя ещё очередной прожитый год это не повод для веселья, но тебя я видеть рада. Буду считать, что это мне подарок к дню рождения. А то могли бы ведь и не встретиться вовсе.

В тоне её голоса, во взгляде, в каком-то кротком, поведении проклюнулось что-то от той, прежней Анны. И я, испугавшись этого наваждения, узнавания её желанной и любимой, чуть грубовато спросил:

– И сколько же тебе стукнуло, если не секрет?

– Посчитай. Ты старше меня на двадцать три года. Когда я родилась – ты уже закончил институт. Впрочем, мне ещё «не стукнуло», как ты выразился, потому что я родилась в двадцать часов дня.

Мысленно я подсчитал, что ей, значит, сорок лет. А вслух, стараясь быть непринуждённым и весёлым, сказал:

– О, сударыня, значит, вам не менее ста лет! Ибо я уже такой древний.

– Обидеть хочешь? Или так, беззлобно, шутикуешь? – совсем не раздражённо, а скорее устало спросила Анна.

– Комплимент хотел сделать, – ответил я. – Поскольку после ста – уже вечность. А для вечности ты весьма неплохо выглядишь.

– Когда-то ты говорил, что я выгляжу очень хорошо, и даже сногшибательно.

– Ну, когда-то... Мало ли что было когда-то....

– А ты не меняешься, – внимательно взглянув на меня, сказала Анна. – Всё такой же.

– Какой?

– Загорелый. Мускулистый. Веселый. Глаза блестят и голубеют.

Не знаю, говорила ли Анна правду. Сама она, надо сказать, за то время, что мы не виделись, изменилась. И, увы, не в лучшую сторону.

В углах рта появились скорбные складки. Бездонный, как казалось прежде, омут зелёных глаз уже не был опасен и не выглядел таким уж бездонным, словно обмелел. И в эти обмелевшие глаза теперь не страшно было заглянуть. И ещё чувствовалась в ней некая преждевременная усталость, словно мы с ней обменялись возрастом.

– А ты, Аня, что-то неважно выглядишь, – с искренним сочувствием сказал я. – Работы много?

– Много. Причём часто бестолковой, совсем ненужной, – с каким-то безразличием ответила она. – Но, впрочем, наверное, дело не в этом. А в том, что радости жизни не стало. Вот в чём беда. – Послушай! – вдруг оживилась она. – Сегодня ведь макушка лета, его середина, некий, так сказать, Рубикон. А «лето – это маленькая жизнь...», как поётся в песне Олега Митяева. У нас есть вкусная еда, вино. Надеюсь, ты не будешь возражать, если мы отметим мой день рождения у тебя? Не хочется, понимаешь, устраивать праздничный обед в гостинице с видом из окна на неказистые деревенские сараи и общественный туалет. Тем более что ты сказал, что к тебе никто не приехал. Посуду мы потом всю перемоем и всё приберём, не беспокойся, – поспешно проговорила Анна, по-видимому, уловив в моём лице недовольство.

– А я и не беспокоюсь. Я вообще в последнее время стараюсь ничем особо не озадачиваться, – ответил я. – Но, увы, при всём моём желании, собраться у меня не получится. Потому что в час дня мы собираемся у моего соседа Евгения Яковлевича Серебрянникова отметить 110-летний юбилей Сергея Яковлевича Лемешева. Если ты с ним договоришься о своей компании – присоединяйтесь. Думаю, он возражать не будет.

– А ты не смог бы с ним поговорить?

– Нет. Это ведь не моя территория...

### ***31 июля 2012 года. Вторник. Порт Байкал. 10.50.***

– ...Ты как будто сердись на меня за что-то, – задумчиво проговорила Анна. Раздражённо махнув рукой своим спутницам, уже вышедшим из храма и какое-то время стоящим в некотором отдалении от нас на зелёной, заросшей душистой аптечной ромашкой дорожке, ведущей в деревню, и всем своим видом словно показывающим, как им надоело её ждать. И взмах её руки в данном случае мог означать только одно: «Идите. Я догоню». – Я вроде бы этого не заслужила, – увидев, как её подруги побрели вниз, вновь обернувшись ко мне она.

– Аня, ты очень славная девушка. И, поверь, я к тебе совсем неплохо отношусь. Но я больше не люблю тебя, вот в чём дело. Впрочем, как и ты меня, наверное. Следовательно, – я

старался говорить искренне, – не стоит больше блуждать в саду былых сновидений, в котором нам обоим было когда-то хорошо. Ведь невозможно дважды войти в одну и ту же реку, как утверждают философы. Всё в прошлом, в мире иллюзий. Причём, надеюсь, что утраченных.

– А я сегодня с утра творчеством занималась, – словно не слушая меня и глядя теперь на синюю ширь Байкала, снова невесело проговорила Анна, достав из кармана лёгонькой куртки и передавая мне сложенный вчетверо тетрадный листок бумаги. – Пообещай только, что прочтёшь, что там написано, когда мы уедем?

– Обещаю. И даже, как юный пионер, торжественно клянусь! – попробовал я хоть немного разрядить обстановку. – Ну, я пошёл. Мне ещё надо до визита к Женьке успеть супчик какой-никакой сварганить.

– Пойдём вместе. Попробую переговорить с твоим соседом.

У крыльца моего дома мы расстались. Анна пошла дальше, а я вошёл в дом.

Готовя на веранде супчик – на завтра и послезавтра и... в общем, насколько хватит, я увидел в своё «телеокно», как через короткое время, возвращаясь от Женьки, Анна перешла с его участка на мой (между нами нет забора), собрала на небольшой полянке крохотный букетик ромашек и, подойдя к веранде, постучала сухой веткой в высокое окно, до которого рукой было не дотянуться.

Я вышел на крыльцо.

– С Евгением Яковлевичем мы обо всём договорились. Так что наша компания присоединяется к вам, – доложила Анна.

– Хорошо. Значит, ещё увидимся, – бодро ответил я.

– Это тебе, – протянула она букетик из нескольких ромашек.

– Почему мне? – удивился я. – День рождения ведь не у меня.

– Да ты посмотри, какие они красивые! – проговорила Анна.

«Вот именно. И не стоило их рвать. Пусть бы себе росли», – подумал я.

– На них, кстати, можно погадать, – продолжила она.

– Положи, вон там, – показал я на две доски, служащие мне верстаком. – У меня сейчас руки грязные. Только что картошку мыл, а она вся в присохшей глине, – объяснил я Анне.

Она положила ромашки на край доски и, опустив голову, побрела по тропинке к калитке.

\* \* \*

После весёлого, более чем трёхчасового застолья у Евгения Анна, её спутницы и «тётя» Евнениа, оказавшаяся очень славной, спокойной женщиной, отправились на паром. Женька изъявил желание их проводить, попросив нас с Сашей дожидаться его «для продолжения банкета».

– Тем более у меня для вас есть сюрприз, – сказал он, заговорщицки улыбнувшись.

После отбытия всей компании мы с Сашей уселись в раскладные кресла на большой открытой веранде (благо, что дождь в очередной раз прекратился) и, лениво переговариваясь, стали любоваться чудесным видом на Байкал, его ближайшими и дальними мысами, сейчас курящимися, будто печи в ненастье в деревне, когда из труб почти всех домов валит белый дым.

– А я сегодня перед обедом по областному радио в рубрике «Минуты поэзии» стихи твои слышал. Хорошие стихи, – неспешно, с паузами, проговорил Саша, всё так же неотрывно глядя на Байкал. – И стих об Анне я сразу понял о ком.

– О ком? – тоже лениво спросил я.

– Ну, ясно дело, о сегодняшней Анне, Снегирёвой. Я же помню, как у вас тут два года назад всё захоронилось. Светились оба, как свежеиспечённые блины. Это потом уже, позже между вами какая-то чёрная кошка, похоже, пробежала.

– Нет, Саша, ты ошибся. Этот стих был написан очень давно. Ещё в прошлом веке, в Германии. И когда я писал его, я думал не об Анне Снегирёвой, а об Анне Невзоровой, моей давнишней доброй приятельнице, работающей тогда на областном радио. С которой у меня никогда и ничего в амурном плане не было. Да ты и сам её знаешь. Ты ведь у неё в программе на радио тоже записывался, как мне помнится.

– Да, – ответил Саша, – было дело. И, немного помолчав, добавил: – А наизусть это стихотворение не помнишь? Прочти, если сможешь.

– Попробую, – не стал я возражать. Тем более что многие свои стихи я действительно знаю наизусть:

Дни поздней осени туманны...  
(И смуглы, аж до черноты).  
И у моей подруги Анны  
Сквозят осенние черты.  
И в сумерках – из фиолета —  
Я с грустию припомню вновь.  
Как ярко полыхнуло лето.  
Мгновенна как была любовь.  
Осенняя моя подруга...  
На кухне с Анной пьём чай.  
Она мне – про любовь, про друга...  
Я ей – про беды про свои...  
И вдруг, галантно распрощавшись,  
Я в темь шагну. Исчезнув вновь.  
Шепча под нос себе сонеты  
Про нереальную любовь.  
Но, сам себе противореча, —  
Я буду ночью вспоминать:  
Как светел локон. Смуглы плечи.  
Как широка её кровать!

– Да, – снова проговорил Саша будто нехотя, когда я, не торопясь, с некоторой даже ленцой и хрипотцой в голосе, прочёл этот стих. – Наверное, неосуществлённая любовь – самая лучшая, – сделал он неожиданный вывод. И мы оба в очередной раз надолго замолчали.

– Впрочем, и про нынешнюю Анну у меня есть стихотворение. Правда, написанное в соавторстве с Александром Сергеевичем Пушкиным.

– Можешь прочесть?

– Могу. Слушай:

«Я Вас любил...»

Любовь ещё быть может?  
Не может быть. Надежды больше нет.

«Но пусть она Вас больше не тревожит», —  
Как некогда уже сказал поэт.

«Я вас любил безмолвно, безнадежно...»  
Как много в этом мире вечных тем.

«Я Вас любил так искренне, так нежно...»  
И вот, представьте, не люблю совсем.

– Злоё стихотворение, – помолчав, проговорил Саша. – Пушкин добрее тебя.

Развивать дальше эту тему мне не хотелось, и я ничего не ответил ему. А тут вскоре наше затянувшееся, но не тягостное, впрочем, молчание, когда каждый думает о чём-то своём, может быть сокровенном, прервал вернувшийся примерно через час после его ухода со всей компанией, разбурьяненный от быстрой ходьбы и подъёма на нашу горку, Женька. Весело улыбаясь и потирая руки, он предложил:

– Ну что, мужики, на троих?!

Он быстро прошёл в дом, и мы последовали за ним. Во-первых, потому что немного продрогли от почти часового сидения на открытой всем ветрам веранде, а во-вторых, потому что стал снова накрапывать дождь.

Откуда-то из шкафа, за печкой, Женька извлёк наполовину недопитую бутылку рома.

Мы не торопясь, за разговорами, выпили по несколько рюмок действительно очень хорошего, привезённого нашим радушным хозяином с Филиппин, рома. Почти доели оставшиеся салаты и картошку. Посудачили всласть и об уехавших дамах, каждая из которых была по-своему, хоть чем-то, да хороша...

Расстались мы уже под вечер. И когда я вернулся к себе, вспомнил про записку Анны. Достал из кармана рубашки сложенный вчетверо листок бумаги и, сидя у окна на веранде, прочёл:

«Иркутская область. Порт Байкал, жара, июль...

Какой красивый и дивный уголок природы! И здесь из-под пера писателя Владимира Максимова выходят в жизнь его рассказы и стихи! (После прочтения этих строк мне сделалось как-то неловко, будто мне льстили прямо в глаза. Но потом я подумал, что, может быть, она тоже успела услышать передачу «Минуты поэзии» и решила, что стих про Анну написан о ней. И это раззадорило её на написание подобной записки.) В них всё: и боль, и радость, и вечная любовь. (Какое заблуждение! Не бывает никакой вечной любви. И никогда не было. И если женщина – или мужчина – говорит вам, что будет любить вас вечно – это означает только то, что он – она – будут любить вас, пока будут любить.) Любовь к человеку, к травинке, к собаке. (Это явно об украденной нынешней зимой, пока он был на Филиппинах, Женькиной собаке Асе, «хозяйке горы», которая присутствует во многих моих рассказах.) И как у него хватает её на всех?! А очень просто: любить только себя – грех. Свет и доброта нашего поэта – залог настоящего таланта и успеха!

15 июля 2012 года. Воскресенье. Анна С.».

Дочитывал я записку уже с таким чувством, будто она была написана не обо мне, а о ком-то постороннем, незнакомом и в общем-то не очень симпатичном, стереотипном человеке.

«Ну, что ж. Излишне восторженно, на мой взгляд. Во многом, пожалуй, неточно. Но, может быть, искренне. Тогда это извиняет автора», – подумал я, положив записку на стопку бумаг, предназначенных для будущих, ещё не начатых литературных произведений. Тем более что нынешнее повествование, подходящее уже к логическому завершению, я надеялся закончить к концу недели. Чтобы с понедельника приняться за новую вещь, надеясь написать за дачный сезон хотя бы ещё два рассказа.

Один, с условным названием «Экзамен по научному коммунизму», я здесь уже написал. А этот – «Живая душа» с самого начала пробуксовывал и двинулся только с третьего раза, измотав меня. И я отчего-то вспомнил, как сын, когда я уже приехал сюда, дождавшись в городе их возвращения с острова Ольхон на Байкале, куда они отправились с друзьями дня через два после Диминой свадьбы, позвонил и сказал, что они со Светой привезут мне Рыжика. Карася



Каземирыча, потому что теперь они уже отправляются в Тайланд, в свадебное путешествие, тоже на какой-то остров, но совсем безлюдный и крохотный.

Вспоминая это, я отчего-то вспомнил вдруг и про ромашки Анны. Вышел на улицу и увидел, что они совсем завяли...

***Фрагмент из написанного ранее, который можно было назвать «Новелла о рундуке»***

Я пишу за круглым столом на веранде, а Карасик спит себе безмятежно на мягкой подстилке на рундуке метрах в двух от меня...

На этом рундуке, в своё время (это было ещё при Наташе), наверное, лет семь назад, спала хорошая знакомая моих друзей, славист и переводчик из Швейцарии, приехавшая к нам с ними. И сразу же облюбовавшая именно это спальное место.

– Он широкий и твёрдый. Как раз то, что нужно для моей спины, – объяснила она свой выбор.

И когда я по утрам заваривал на веранде кофе, мы обычно вели с Шан, а именно так звали нашу гостью, литературные беседы. Она просыпалась раньше меня. И выходя на веранду, я видел, что занавеска, отделяющая рундук, уже откинута и Шан, умытая и причёсанная, сидит за столом с книжкой Льва Николаевича Толстого.

Кажется, это были «Севастопольские рассказы».

Шан вообще считала, и это было её твёрдое убеждение, что в России существовало и доньше существует только два писателя – Лев Толстой и Фёдор Достоевский. Все другие – просто лишние. Ведь всё, что требовалось сказать о жизни, да и о смерти тоже (вспомните «Смерть Ивана Ильича» Толстого), эти двое уже сказали. А большего ничего для познания мира и себя в нём человеку и не надо.

Может быть, поэтому, отгостив на Байкале неделю (наши общие друзья только привезли Шан к нам, вернувшись в тот же день в Иркутск и пообещав встретить её у причала парома на той стороне, когда она будет уезжать), она перед самым отъездом деликатно, но всё же с плохо скрываемой брезгливостью попросила меня подарить ей какую-нибудь мою книгу.

– Возможно, я что-то смогу перевести. – Словно извиняясь за свою брезгливую гримасу, скрыть которую ей не удалось, примирительно сказала она. – Но не обещаю быстро и наверное, – поспешно добавила Шан, поймав мой ироничный взгляд.

Я подарил ей: «В то лето...» (Подзаголовок книги был «Повествования прошлого века», речь в книге шла о веке двадцатом.) И уверен, что книга эта, скорее всего, даже не доехала до Швейцарии. А если и доехала, то стоит или лежит где-нибудь на полке в кухне, между банками с какой-нибудь диковинной снедью. И не потому, что книга плоха, а потому что это Максимов, а не Толстой или Достоевский.

Хотя книга не просто неплоха, она получилась, на мой взгляд, даже очень хорошей. Может быть, поэтому её тираж в тысячу экземпляров в наше-то нечитающее время разошёлся за три месяца! И в ней есть несколько очень достойных, дорогих мне рассказов. Да и повесть «Мы никогда уже не будем молодыми» – тоже хороша.

Впрочем, я на свой счёт особых иллюзий не питаю. И, возможно, именно поэтому в один из вечеров, когда мы ужинали с Шан на веранде вдвоём, запивая еду (яичницу, поджаренную с сосисками) красным вином, перелитым мной из тетрапака в графин, на её вопрос «Являюсь ли я известным в России писателем?» я искренне, с долей горькой иронии, впрочем (ибо люди почти перестали, увы, читать книги), ответил, что: «Я широко известен в узких кругах своих единичных читателей».

Шан наморщила лоб, поскольку даже для неё, прекрасно владеющей русским языком, этот каламбур был, пожалуй, всё же, сложноват. И чтобы объяснить ей сказанное, мне пришлось продолжить:

– Мир, как известно, мал, а Россия велика. Поэтому при нынешних небольших тиражах книг и очень немногочисленных читателях о всероссийской известности речи быть не может почти ни у кого из пишущей не в Москве и Питербурге братии. Именно поэтому я более-мене известен здесь у нас, в Сибири. И, судя по всему, совершенно неизвестен за её пределами.

Но, по-видимому, и это объяснение было для неё не совсем простым. Особенно: «Мир мал – Россия велика», потому что она выслушала меня как-то отстранённо, не улыбаясь, сдвинув брови к переносице. И я не уверен, что она до конца поняла меня.

Молча запив мои разглагольствования несколькими хорошими глотками вина, она только и сказала, что:

– Угу... – А, поставив бокал на стол, добавила: – Вино хорошее. Испанское? Чилийское? – Российское. Краснодарский край...

А года два назад (Наташи уже не было) на этом рундуке снова спала дама, только теперь не из Швейцарии, а из Питера. И снова знакомая наших знакомых. Правда, на сей раз рундук был облюбован ею не из-за проблем с позвоночником, а из-за проблем с избыточным весом. И нежеланием, в связи с этим, подниматься по лестнице в гостевые комнаты. Хотя во время её приезда одна из них была свободна.

### ***1 августа 2012 года. Среда, Порт Байкал. 9.40.***

*Наступило моё любимое время. «Месяц Цезарей – август», – как сказал о нём, кажется, Мандельштам.*

*За окном веранды туман. Из шести моих нижних каналов (поскольку рама веранды разделена ещё и одной горизонтальной перегородкой, посередине) «телевизионных» каналов (на шести верхних, симметричных нижним, всегда только небо и вершины зелёных гор, таких разноцветных осенью) показывает поэтому только один. Первый. Виден бок Женькиного дома, отстоящий от моего шагов на пятьдесят и – сарай, гараж, баня – всё под одной крышей, но с разными высотами.*

*И сегодня ночью, когда я по малой надобности выходил из дома на крыльцо, было тоже туманно и тепло. Туман полноводной рекой или вылезшим из горшка великана тестом медленно и плавно плыл по дороге и над ней, заполняя всё пространство этого нашего маленького каньона. И с другого берега этой белой реки высвечивали в ночи размытым светом три янтарных квадрата окон ближней ко мне, из всех трёх на её усадьбе, дачи Галины Алексеевны Николаевой. Да ещё на нашей полянке у дома светил, в непричёсанных космах тумана, будто живой светлячок, фонарь на солнечных батареях, привезённый в свое время на дачу Наташей.*

*И потом, когда я вернулся с крыльца, пожурчав с него не очень упругой струей, снова в дом, и снова уснул, мне приснилась Наташа. И мы что-то делали с ней вместе. Кажется, читали. Как это частенько бывало при нашей неторопливой жизни здесь, на даче.*

*Если погода позволяла, мы после ужина выходили на открытую веранду перед крыльцом и, сидя на раскладных стульях, читали там. А если дни были уже не такие длинные или моросил дождь, мы читали, и обсуждали прочитанное за круглым столом на веранде. Божже, какие это были счастливые, как я сейчас понимаю, минуты...*

*Однако пора вернуться к нашей гостье из Петербурга.*

... – Мне туда, наверх, лезть не с руки, при моих-то габаритах, пояснила она своё решение устроиться на рундуке. – Да и вряд ли я смогу протиснуться в ваш люк, – добавила она, критически взглянув наверх и поставив свои дорожные сумки рядом с рундуком, под лестницей ведущей на второй этаж.

А меня её слова о протискивании в люк натолкнули на воспоминание о том, как действительно однажды художник Лев Борисович Гимов, тоже летом живущий на своей даче в Порту, решил написать мой портрет «за работой» (а писал я тогда до обеда, уж не помню, почему, в свободной комнате на втором этаже) и даже не попытался протиснуть в этот люк, приготовленный им и натянутый на подрамник внушительных размеров холст. Пришлось его на второй этаж транспортировать через окно, с улицы, подставив лестницу.

– А здесь, на веранде, хорошо. Просторно, прохладно... – продолжила дама из Питера обосновывать свой выбор данного места отдыха. – Дайте мне только что-нибудь свое новенькое, если есть, почитать. Мне Софья Михайловна (Соня Ефремова – для близких друзей. Софья Михайловна – для студентов ЛГУ и всех остальных. Ныне уже, впрочем, не Ленинградского, а Санкт-Петербургского государственного университета, доктор биологических наук. Моя добрая приятельница – аж с 70-х годов прошлого века, когда я тоже занимался наукой и учился в аспирантуре Зоологического института в Ленинграде) давала мне в Питере некоторые ваши вещи почитать. Мне они понравились. Есть в них и искренность, и доброта, и чистота. Редкие для нынешней литературы качества. Я даже в гимназии у нас, которую основал, кстати, не кто-нибудь, а сам Жорес Алфёров (крупный учёный, физик, лауреат Нобелевской премии), некоторые ваши рассказы с ребятами разбираю. И, похоже, они им тоже нравятся. Особенно вот эти два: «За шторой с этой стороны...» и «Морозный поцелуй». Может быть, оттого, что герои в этих рассказах очень молоды. Фактически, их ровесники.

Я дал ей свою крайнюю на тот момент и очень горькую для меня книгу: «Куда всё это исчезает?..», вышедшую к 18 апреля 2010 года, к первой годовщине ухода в мир иной жены моей Наташи.

В книгу были включены повести и рассказы, как-то связанные с нашей семьёй, из уже вышедших ранее книг. Например, повесть «Пристань души», в которой рассказывалось, как мы с двадцатимесячным сыном Димой предприняли поездку по осеннему Байкалу на моторной лодке нашего приятеля Вити Егорова... Были и новые рассказы, написанные ещё при Наташе, и в какой-то мере о ней. Такие как: «Фонарь на солнечных батареях»... Было там и эссе: «Прости, прощай...», написанное уже после жизни Наташи – здесь на Земле. (Я верю, что она живёт и ждёт меня где-то там, на небесах, в неведомых нам дальях. Ибо человек всегда получает именно то, во что он свято верил. Она – верила в бессмертие души.)

*На этом написанные прежде варианты данного повествования заканчивались следующей записью о начале работы над рукописью:*

*«16 июля. 12.30. За два с половиной часа я написал более трёх рукописных страниц! Невиданные для меня темпы.*

*Дождь уже почти перестал. И лишь редкие, кажется большие и твёрдые, как горошины, капли изредка ударяют по железу крыши. К дымку, поднимающемуся из трубы Женькиного камина, присоединился клочками витающий белый туман закурившихся близких зелёных гор, лениво отделяющийся от мокрых, изумрудного цвета, полукруглых вершин деревьев.*

*Ну, что ж, продолжусь завтра ткать нить повествования с неведомым доселе мне сюжетом».*

Ну вот а сейчас я пишу уже на 53-й странице. И тоже до сих пор не знаю точно, что же у меня, в конце концов, получится.

А потом, после написания вещи, будет первая вычитка. Потом переписывание вычитанного текста набело. Введение чистового и ещё раз вычитанного текста в компьютер (прежде компьютер заменяла печатная машинка «Унис де люкс», или попросту «моя Унис», купленная в Москве на первый приличный гонорар). Вычитка и правка введенного текста уже в компьютере. Распечатка вычитанного текста на бумаге. Вычитка распечатки, правка. И тогда, может быть, если удастся вложить в слова то, что я чувствую, что-то получится. То есть что-то вечное. Или хотя бы достаточно долговременное, интересное не только мне и моим знакомым, но и совершенно незнакомым людям. Поскольку в этом рассказе будет тогда отражено живое время уже исчезнувшего в никуда високосного года третьего тысячелетия, с его сиюминутностями и размышлениями о темах вечных: душе, жизни, смерти, любви, утрате или не утрате иллюзий и поисках утраченного времени...

А потом надо будет у неведомых и часто почти недостижимых гипотетических спонсоров изловчиться добыть денег, убедив их в том, что литература ещё кому-то нужна. И если повезёт, то можно будет издать книгу, состоящую из новых, никому ещё неведомых рассказов. На написание которых, впрочем, уйдёт ещё года два-три. После чего и этот рассказ, и другие, доселе пока ненаписанные, а только вызревающие где-то в глубине души, возможно, прочтёшь и ты, мой неведомый читатель...

Продолжусь завтра. Надо идти в магазин. У Карасишки закончился минтай. Да и время уже 11.30. Пишу почти два часа. Устал.

***2 августа 2012 года. Четверг. Порт Байкал. 10 часов утра.***

***Туманное утро. Или как там у Ивана Сергеевича Тургенева: «Утро туманное. Утро седое...»***

Да, как и вчера, туман как будто поглотил не только окрестности, но и звуки.

Не слышно птиц, кузнечиков. Всё словно спряталось и замерло в ожидании чего-то.

Из тумана шагах в десяти от веранды выглядывает, с крупными бриллиантовыми каплями на иглах, вершинка невысокой пушистой сосёнки. И от этой игольчатой зелёной пушистости, унизированной сверкающими чистыми каплями, на душе становится как-то спокойно, и даже радостно, несмотря на то что сегодня день рождения мамы, которой уже девять лет нет на этом свете. И я помню, как здесь, на даче, готовя сборник стихов «Памяти солнечный зайчик», написал второго августа первые строки будущего стихотворения: «Мамин день рождения, без мамы, я уже второй встречаю раз. Попросив у Господа покоя для души её. И памяти – для нас...»

Мама умерла 11 апреля 2003 года. Ей было 77 лет, а мне 55. Но как горько, помню, плакалось. И каким виноватым, из-за того, что бывал порою с ней небрежен, груб, невнимателен, чувствовал я себя. И эти обильные слёзы, конечно, очищающие душу, помочь уже, увы, ничем не могли...

А вот молилось сегодня за усопших с утра очень хорошо. Не формально, как бывает иногда. И как-то очень светло. Ведь души их нуждаются в наших молитвах.

А ещё сегодня 82-я годовщина воздушно-десантных войск (это я из новостей по радио сведения почерпнул). И день Ильи или Илии – пророка. Значит, почти обязательно будет дождь. Ну и пусть!

И ещё отчего-то (из-за тумана, наверное) с утра вспоминается Беломорье.

Так же вот, помнится, как моя сосёнка, выглядывала вершина тёмно-зелёной ели, растущая среди огромных валунов, недалеко от домика, где я тогда жил летом на Беломорской биологической станции Зоологического института.

И ещё припомнилось, как я играл на этой биостанции в бильярд... с вороной. Её там никто не гонял, кроме собак сторожа – финна, которые, впрочем, обычно сидели на привязи у его домика, стоящего недалеко от причала. И поэтому ворона почти перестала бояться людей.

Большой бильярдный стол с выцветшим от солнца зелёным сукном стоял под навесом, на открытой просторной веранде, в нескольких десятках шагов за столовой, почти на краю биостанции. И на этой веранде отчего-то было всегда пустынно. И мне это нравилось – отсутствие людей. Я приходил туда в свободное от работы время поразмышлять в тиши. А заодно и погонять большие жёлтоватые (тоже ставшие таковыми от солнца) бильярдные шары, оттачивая меткость удара и глазомер. И как только раздавались первые удары кия по шару, неведь откуда прилетала ворона. Кося недоверчивой чёрной бусинкой глаза в сторону кия, она сначала садилась на доходящий до пояса бортик веранды. А через какое-то время перелетала на бортик стола, крепко держась за него своими цепкими лапами с длинными когтями и время от времени прохаживаясь по нему как-то боком, туда-сюда.

Она всегда с нескрываемым интересом наблюдала за движением шара по выцветшему сукну стола. А когда шар падал в лузу, неуклюже переступая лапами, добиралась до сетки, в которую он свалился, и с недовольным видом, будто даже побряхтывая, очень стараясь, тянула клювом сетку вверх, до тех пор, пока шар снова не выкатывался на стол. В этот момент она довольно крикала, вытягивая шею и продолжала внимательно следить за игрой.

И всё начиналось сначала. Поэтому выиграть у этой вороны было невозможно.

И там, за бортиком веранды, ели тоже стояли в белых юбочках из тумана.

И ещё вспомнилась биостанция Ленинградского университета, которая была значительно бедней нашей и размещалась в бараках бывшего рыболовецкого колхоза, на одном из ближайших к нашему мысу Каргеш островов. Помню, что у университетской биостанции, тогда не было даже электричества. И, приезжая туда, ты как будто попадал из века двадцатого в век девятнадцатый. Поэтому вечерами в одной из комнат на втором этаже огромного барака из почерневших брёвен, с длинным гулким коридором, мы (я, аспирант Зоологического института, приезжающий время от времени для совместных экспериментальных работ с работниками ЛГУ со своей биостанции; Соня Ефремова, тогда ещё молодой, подающий надежды, кандидат наук: и её весёлая студентка Наташа) собирались на общей кухне, в которую выходили двери двух комнат, занимаемых в этой части барака нами. В одной жили Соня с Наташей, в другой – я.

Нажарив с картошечкой белых грибов, собранных недалеко от дома, мы садились ужинать при свете керосиновой лампы. Соня доставала из шкафчика пузатенькую, из прозрачного стекла, колбочку с разведённым спиртом, настоящим, кажется, на можжевельнике. Отчего цвет у этого крепкого напитка был зеленоватый. Металлические рюмочки у нас были очень маленькие. И за время ужина мы могли выпить по две-три таких рюмки, в прямом смысле этого слова, зелёного зелья.

А после ужина, будто находясь внутри большого тёплого жёлтого шара света, исходящего от керосиновой лампы, Соня начинала читать нам вслух, мысленно переводя с французского, какую-нибудь новую повесть Франсуазы Саган или Анны Прейдаль, ещё не переведённую на русский язык даже журналом «Иностранная литература».

Помню, что Франсуаза мне нравилась гораздо больше Анны. А Соня с Наташей нравились вообще. Тем более что на острове нас было только трое. Да ещё штук пять закрытых на висячие замки бараков. И как говорил поэт, да ещё при моей-то ветрености, «Я мог бы запросто влюбиться, но...». Но я уже был нешуточно влюблён. И не далее как несколько дней назад, в «почтовый день», перед тем, как отправиться на университетскую биостанцию на вёсельной

лодке, для заранее согласованных с шефом совместных работ, получил от любимой девушки очень нежное письмо, заканчивающееся словами: «Где ты пропадаешь? И зачем?» И если на вопрос «где?» я мог ответить достаточно точно, то на вопрос «зачем?» вряд ли. Потому что это уже философский вопрос. А на философские вопросы отвечать всегда не просто. Слишком много в них разных нюансов.

Воспоминания цепляются одно за другое, как звенья цепи. И эту цепь из воспоминаний о ранее прожитом можно вытягивать, кажется, до бесконечности. Поэтому вернёмся всё же к нашей гостье из Питера.

Когда я утром попытался тихонечко выйти на веранду, дверные петли дома противно и протяжно «заскрипели» и я в очередной раз вспомнил о том, что собирался их смазать ещё несколько дней назад. Осторожно прикрыв второй раз проскрипевшую дверь, я уловил за шторой, отделяющей рундук, какое-то шевеление.

– Извините, я вас, кажется, разбудил? – проговорил я в сторону шторы. – Всё забываю смазать в доме дверные петли. Вот они и скрипят, как ненастроенная скрипка.

– Вы меня не разбудили, Владимир Павлович. Я не спала. Я почти всю ночь читала вашу книгу. Правда, дочитать всё же не успела.

Через минуту из-за шторы, с всклокоченными волосами и каком-то цветистом халате, появилась наша гостья. Не помню, как её звали. Летом у нас на даче, особенно при Наташе, всегда бывало много гостей отовсюду. Да и без Наташи какое-то время было так же. Инерция приездов знакомых, малознакомых, совсем незнакомых, но знакомых наших друзей сохранялась ещё долго. Поэтому, для простоты повествования, назовём гостью, скажем, Елена Ивановна.

– Я сейчас умоюсь, приведу себя в порядок и буду с вами разговоры говорить за чашкой кофе, – решительно произнесла она. – Вы ведь кофе собирались пить? – уточнила она.

– И завтракать, – добавил я.

– Вот и хорошо. Вместе позавтракаем. У меня есть отличный намототый из зёрен кофе и сыр.

Вернувшись на веранду (поскольку умывальник летом, а прочие удобства круглогодично у нас на улице), розовощёкая, причёсанная, пышущая здоровьем и оптимизмом, Елена Ивановна, положив на стол сыр и кофе, от которого по веранде распространялся дурманяще приятный аромат, решительно заявила:

– Владимир Павлович, я сегодня уезжаю. Книгу дочитать не успею, поскольку мне хочется ещё и окрестности осмотреть. Поэтому вы мне должны её подарить.

Меня особенно резануло слово «должны», поскольку не далее как вчера, побывав в посёлке, я дважды услышал почти то же самое. Сначала в магазине «У Жанны», где одна из её продавщиц, очень молоденькая симпатичная девушка с белозубой улыбкой и постоянным круглогодичным байкальским загаром, тоже попросила, вернее, как-то загадочно потребовала подарить ей книжку, «в которой есть рассказы про портовских».

– Мне наша библиотекарьша Оксана об этом сказала, вы ведь им книжку подарили, что там много есть чего о наших жителях. Вот и мне стало интересно, вдруг там и про меня что-то написано, – кокетливо улыбнулась она, продолжая глядеть на меня доверчиво и просто своими синими глазами.

Я понял, что речь шла о книге «Предчувствие чудес», вышедшей в 2008 году у очень хорошего издателя Геннадия Сапронова. Именно эту книгу я и подарил некоторым своим здешним знакомым, прототипам героев повестей и рассказов. А также отдал по одному экземпляру в школьную и поселковую библиотеки. Тем более что большинство из этих рассказов и маленькая повесть «Такое вот Хироо...» были написаны в прежние годы (ещё при Наташе) здесь в Порту. И многие местные жители в книжке действительно узнаваемы.

– Вера, подари мне батон колбасы и булку хлеба, – в тон весёлой продавщице ответил я. Она искренне удивилась такому моему наглому предложению, даже не поняв, по-моему, почему я его сделал. Перестав улыбаться, она растерянно ответила:

– Я не могу. Это не моя колбаса, а Жаннина.

Чтобы не обижать славную наивную девушку, я примирительно сказал:

– Вот и я, Вера, тоже не могу подарить тебе книжку, хотя она и моя. Просто, во-первых, бесплатный труд безнравственен, а, во-вторых, у меня её здесь на даче просто нет. Если будешь в Иркутске, сможешь купить её в любом книжном магазине «Продалита». («Продалить» – сеть магазинов по всей области по продаже литературы). Они у меня несколько пачек брали. И, кажется, она вся ещё не разошлась. Тем более что стоит книга, которую я писал пять лет, не дороже килограмма колбасы.

– У! Так дорого! – искренне изумилась Вера.

Ну что я мог ей на это ответить?

Приблизительно такой же диалог, правда, с благоприятным для меня исходом, состоялся у меня и с едва знакомым, и уже (с утра!) «изрядно датым» местным рыбаком, когда я вышел из магазина и направился в фельдшерский пункт, вспомнив, что у меня на даче не обнаружилось лейкопластыря, который здесь всегда необходим.

– Ты слышь, Палыч, – тормознул меня рыбак недалеко от магазина. Сам он, по всей видимости, направлялся именно туда. – Книжку-то мне свою чё не даришь? Про наших коренных жителей (да, быстро по деревне разносятся вести). Да и про нас, рыбаков, чё-нибудь напиши! У нас ведь доля ой какая опасная. Можно сказать, каждый день по краю жизни ходим.

– Может быть, по краю бездны? – уточнил я. Ибо Байкал – это, несомненно, бездна, почти такая же, как Космос.

– Ну, бездны, один хрен, – легко согласился рыбак Коля, бывший моторист судна «Комсомолец Бурятии», ржавеющего теперь уже несколько лет у одной из причальных стенок Порты. – Ты же писатель? – уточнил он на всякий случай.

– С ударением на каком слогe? На первом или на втором? – решил пошутить я.

– Да какая, хрен, разница! – запальчиво проговорил он. Но, о чём-то поразмыслив, добавил: – Не понял, ты это на чё намекаешь?

– Да ни на что, Коля, не обращай внимания. Хотя разница между пИсателем и писАтелем всё-таки есть, согласись.

– Да какая, хрен, разница! (Видно, любимый продукт это у Коли – хрен), – снова запальчиво проговорил он и уже более спокойно, продолжил: – Я ведь книжку у тебя не просто так прошу. – Я ведь её про-чи-таю, – нараспев, по слогам, проговорил он последнее слово. А тебе за это рыбки дам. Омультка там, хариуса... Бартер, так сказать, – без запинки произнеся иностранное слово, закончил рыбак очень заманчивым для меня предложением.

Кстати, одну свою книгу в этом году я здесь, в Порту, уже сумел обменять на литр сухого красного, качественного, краснодарского вина «Каберне». Обмен произошёл с хозяйкой магазина «Ручеёк», расположенного по пади Баранчик, чуть выше его впадения в Байкал. Я ей книгу – она мне литр вина в тетрапаке.

Вдохновлённый предложением Коли, даже двумя заманчивыми предложениями, во-первых, о прочтении книги, а, во-вторых о том, что я смогу её обменять на несколько «хвостов» свежей байкальской рыбы, и пообещав ему книгу выдать, я отправился в фельдшерский пункт.

Продав мне упаковку сантиметровой ширины лейкопластыря, фельдшерица, дама средних лет, с усталым лицом, как и продавщица Вера, попросила меня подарить ей книжку «Предчувствие чудес». Причём без какого-либо бартера и оговорок.

Может быть, вспомнив эти два халявных вчерашних предложения, я и ответил своей гостье не очень вежливо:

– Елена Ивановна, вот если бы вы пришли, скажем, в мастерскую к художнику и попросили подарить вам понравившуюся картину. Как вы думаете, что бы он вам ответил?

И тут же, спохватившись и вспомнив наш уговор с сыном именно об этой книге, «Куда всё это исчезает?..», я примирительно добавил: – Впрочем, я вам её, конечно, подарю. Мы договорились с сыном о том, что кто не может эту книгу купить, но хочет её прочесть, в память о Наташе мы её дарим.

Кстати, Вере с фельдшерицей я, возвратившись на дачу, тоже решил в ближайшее время книги подарить. Просто их действительно в потребном количестве у меня сейчас не было.

– Я куплю, – поспешно отреагировала Елена Ивановна на мои слова о художнике и картине. – Сколько она стоит?

Мне почему-то всегда неловко называть цену книги, даже по её себестоимости. И чувствую я себя в этот момент каким-то крохобором. Но что же делать, если последние годы наш авторский гонорар издательства выдают писателям, как правило, их же произведениями.

– Двести рублей, – сказал я смущённо.

– Вот, – протянула она мне две тысячи, двумя банкнотами...

**3 августа 2012 года. Порт Байкал. Пятница. 9.50.**

***Ура, завтра баня! Конец трудной недели***

*Третий день с утра и посёлок, и Байкал внизу скрыты туманом. А с обеда обычно солнечно. Мне нравится такая погода. Может быть оттого, что пишется...*

*Но вернёмся в день вчерашний, к нашим товарно-денежным отношениям с питерской гостьей.*

– Елена Ивановна, – ответил я. – Вы меня не поняли. Я сказал двести рублей, а не две тысячи.

– Берите, берите. Поверьте мне, книга того стоит, – по-прежнему протягивая деньги, проговорила она.

Спустившийся несколько минут назад на запах кофе со второго этажа мой шурин Саша, староста уже действующего, но всё ещё продолжающего строиться в Иркутске Петропавловского храма, гостивший в это время у нас с внуком Димой, с явным удовольствием попивая кофе, с весёлым любопытством наблюдал за нашим диалогом, превратившимся в затянувшуюся паузу.

– Но я не могу взять за книгу такие деньги. Это как-то неприлично, по-моему, – не очень, впрочем, решительно сказал я.

– Тогда сделаем так, – опустила Елена Ивановна протянутую через стол белую пухлую руку с деньгами. – Брат вашей усопшей жены, которой и посвящена эта книга, кажется, служит старостой в каком-то храме? Вот ему мы деньги и отдадим, если вы не возражаете? Как пожертвование от вас с сыном. И пусть он за упокой души вашей Натальи молится какое-то время. Сколько сам сочтёт нужным..

Она протянула деньги Саше. И он, чуть помедлив и взглянув на меня, взял их. И, отчего-то не то крикнув, не то покряхтев немного, положил деньги в карман тёплой байковой, в клеточку рубашки, поблагодарив Елену Ивановну словами: «Спаси Бог».

В тот же день, после обеда, Елена Ивановна отбыла.

А я, встретив днём Машу Николаеву, которая разрабатывала дизайн обложки этой книги, рассказал ей о невиданном «гонораре», полученном за нашу книгу от заезжей гостьи из Питера.



– Но ни тебе, Маша, ни себе я не могу из этого «гонорара» взять и десятки. Ибо весь он пошёл на пожертвование строящегося храма, – объяснил я ей суть дела.

– Ну, что ж, хорошо, что на храм. Значит, хотя бы по одной песчинке добрых дел нам с вами, Владимир Павлович, прибавится, – улыбнулась Маша своей доброй, слегка застенчивой улыбкой.

И мне от её улыбки стало как-то очень легко и хорошо!

Ну вот, пожалуй, уже все неясные, как нынешний туман, новеллы, разграничить которые чётко невозможно, поскольку они сквозные. И нередко часть одной можно встретить в другой. Это как закрученная спираль ДНК, несущая всю информацию о человеке. Или как крепкий канат, сотканный из отдельных нитей и жгутов.

Однако, на мой взгляд, в этом повествовании, тем не менее, ясно прослеживается несколько новелл, вошедших в него. О котёнке, неизвестной даме, известной даме, о Беломорье, о рундуке и его обитателях, о моей жене Наташе, о местном «телевидении», о последнем дне лета... И все они, хотя события многих из них отстоят от нынешних на годы, а порою и десятки лет, вправлены в раму современности. С её ежеминутными, часто назавтра забываемыми, событиями.

Не знаю, удалось ли мне сплести достаточно прочный канат, при помощи которого, как якорь, из морских глубин можно вытянуть утраченное время, судить уже не мне, а тебе, мой дорогой и пока ещё, по-прежнему, гипотетический читатель.

И ещё одно несущественное, а так, к слову, добавление. Чтобы написать это повествование в новеллах, в 62 рукописных страницы, не считая черновых набросков и всевозможных вставок, порой составляющих по несколько отдельных страницах, мне понадобилось три шариковых ручки и полмесяца работы. И даже, с учётом ещё предстоящей и, конечно, не быстрой работы над этим текстом, вроде бы не так уж много всего затрачено на эту вещь. Но к этому надо прибавить ещё и всю мою до сей минуты прожитую жизнь. Потому что без личного и подчас очень горького опыта и предельной искренности ни один хороший рассказ написан быть не может. А если и возможно это сделать (технически), то это будет рассказ человека, в лучшем случае, с душой, вычитанной из книг. А в худшем – с душой, высмотренной из телевизора или компьютера. То есть это будет холодный, мёртвый текст, не трогающий никого. Поскольку живую душу будет в нём не отыскать.

А именно о живой душе мне и хотелось вам поведать, неведомые мои будущие читатели.

*16 июля – 8 августа 2012 г., Порт Байкал.*

*Март – апрель 2013 г., Иркутск.*

*Январь 2016 г., Иркутск*

## В одном провинциальном городе

### Маленькая повесть

Это была не самая светлая полоса в моей жизни. И казалось, конца этой широченной, почти беспросветной полосе не будет... Пожалуй, стать совершенно чёрной ей мешало лишь два обстоятельства: моя молодость и природный оптимизм, замешенный на солидной доле иронии ко всему и всем, не исключая самого себя.

А началось всё в предзимнем, сыром сером Петербурге, где я учился в аспирантуре. Неожиданно для всех, кто меня знал, я после удачной переаттестации на третий, заключительный, учебный год, за которым, как правило, следует защита кандидатской диссертации, руководствуясь какими-то неясными, даже себе самому, предчувствиями, вдруг написал заявление с просьбой об отчислении. Выпадая, таким образом, в осадок, вернее, практически в никуда. Наверное, так может выпасть космонавт из обжитого уже корабля в открытый, леденящий, враждебный всему живому космос.

«Обжитие» же моего «корабля» состояло в следующем. Окончив охотоведческий факультет Иркутского сельхозинститута и проработав после этого два года стажёром-исследователем в единственном в стране, впрочем, как и оконченный мною факультет, Лимнологическом институте на Байкале, я дерзнул послать заявку на поступление в аспирантуру. В один из лучших в Российской академии наук институтов – Зоологический, расположенный на стрелке Васильевского острова. Почти напротив – Эрмитаж, правда, на другом берегу Невы. Попасть с левого берега на правый, или наоборот, можно было перейдя не такой уж длинный Дворцовый мост... Хотя тогда, отослав по почте заявку на единственное вакантное место в столь престижном институте, я этой географии ещё не ведал. Как не знал и того, что на место это, по сходной со мной теме, были поданы заявки ещё двух соискателей. Один из них только что окончил Московский, а второй – Ленинградский университет.

На собеседовании в ЗИН, как сокращённо именовался Зоологический институт, куда были вызваны все претенденты на желанное место, в октябре, я в первый и, как впоследствии оказалось, в последний раз увидел своих конкурентов. Симпатичных, с некоторым не особо скрываемым чувством превосходства по отношению ко мне, провинциалу, молодых людей.

Узнав, что я окончил периферийный институт, они отошли в сторонку, наверняка тут же исключив меня из претендентов на столь заманчивую вакансию. В их глазах так и читалось: «Подумаешь, какой-то Иркутский сельхозинститут... Смешно, ей-богу, брать в расчёт подобное учебное заведение. И на что только люди надеются, непонятно...»

В сумеречном, длинном и высоком коридоре мы ожидали вызова в кабинет, где заседала приёмная комиссия. То сидя на старомодных стульях, стоящих вдоль стены с двух сторон массивной и тоже очень высокой двери, с прикреплённой рядом с ней блестящей металлической табличкой «Директор Зоологического института, академик Николай Александрович Скорлато», то в томлении прохаживаясь и с нетерпением («Скорей бы уж!...») ожидая, когда нас по одному начнут приглашать в кабинет.

По немногочисленным репликам моих конкурентов, тихо переговаривающихся, диалог их, похоже, сводился к следующим любезностям: «Если бы я не родился в Питере, я бы хотел родиться в Москве...», «А если бы я не родился в Москве, я бы хотел родиться в вашем прекрасном городе...», чем изначально, с самого рождения, подчёркивалась исключительность обоих. И, может быть, поэтому я мысленно, в сердцах, отвечал этим шептунам: «А вот если бы я не родился в Сибири, то и вообще б родиться не хотел».

Время от времени я подбадривал себя тем, что биологию у нас на факультете (а именно по этому предмету – «Общая биология» и предстояло собеседование) преподавали очень хорошо.

К тому же на многочисленных промысловых и учётных практиках в тайге я изучил эту самую биологию не только теоретически – на лекциях профессора Василия Николаевича Скалона, но и практически, прощупав, так сказать, почти каждую косточку: будь то норка, соболь, колонок, таймень, сохатый ли...

Первым вызвали питерца.

Минут через пятнадцать-двадцать он вышел из просторного и, как увиделось в раскрытую дверь, светлого кабинета порозовевший и крайне возбуждённый.

– Ну, как? – нетерпеливо спросил его москвич.

– Там половина академиков, по чьим учебникам мы учились! – ответил явно довольный собой соискатель.

Москвич хотел спросить что-то ещё, но массивная двустворчатая дверь легко, несмотря на всю свою монументальность, отворилась, вновь брызнув в коридор жёлтым солнечным светом. На пороге, придерживая створку рукой, появилась миловидная, строго одетая (белый верх – тёмный низ), по-видимому, секретарь аттестационной комиссии, девушка с листком бумаги в свободной руке.

– Сальников Борис Моисеевич, – неторопливо, дикторским голосом прочла она и, ободряюще улыбнувшись вдруг побледневшему соискателю, добавила: – Проходите, пожалуйста.

Пока дверь была открытой, я успел рассмотреть просторный, покрытый зелёным сукном, овальный стол, сидящих за ним и чему-то улыбающихся, в основном седовласых, мужчин и миловидную даму средних лет, с гладко зачёсанными русыми волосами.

«Значит, меня почтенная публика решила зажевать на десерт», – констатировал я, продолжая прокручивать в голове невесть откуда прилетевшую ко мне неполную строфу стихотворения, концовку которого я вспомнить никак не мог.

Все битвы проиграны. Все до одной.  
Какой же я, милая, к чёрту, герой?!  
Не стоик, не стоит меня утешать...

Силясь вспомнить последнюю строку, я всякий раз начинал мысленно прокручивать стихотворение сначала.

– Ветров Игорь Владимирович, – буднично, как мне показалось, произнесла вновь появившаяся на пороге девушка, выпустив из кабинета явно обескураженного москвича и с заученной улыбкой, пропуская меня, продолжила: – Проходите, пожалуйста...

Почему мой будущий руководитель Владислав Вильгельмович Винберг (лаборатории которого и предназначалось вакантное место), доктор наук, директор Беломорской биологической станции (ББС) на мысе Картеш, где летом мы в основном и работали, присутствующий на аттестации с правом решающего голоса, выбрал именно меня, я за два года работы с ним так до конца и не понял. И не потому, что он был скрытным человеком, а потому, что я этим вопросом просто никогда не задавался. На биостанции, правда, поговаривали, что шеф как-то высказался по этому поводу: «Мне не нужна была ещё одна голова – мне и своих мозгов хватает. Мне нужны были ещё руки... Так это было или нет – не знаю. Я старался об этом особо не размышлять, тем более что работа у нас шла хорошо. Две статьи в престижных научных журналах, на основе проделанных за два года экспериментов, в соавторстве с шефом, были уже опубликованы. Оставалась самая малость – успеть за третий год аспирантуры закончить кандидатскую диссертацию и защитить её, предварительно опубликовав хотя бы ещё одну научную статью. Оформлением материала, вернее, доведением его до нужного блеска, у нас занимался преимущественно шеф. Я же «гнал эксперименталку», тем более что мыслей всевозможных, очень интересных и порою совершенно неожиданных у моего патрона было действительно хоть отбавляй. «Идеальный симбиоз», – говорили о нас в институте...

– По окончании аспирантуры какое-то время поживёшь в аспирантском общежитии. Комнату я за тобой оставлю, – рисовал мне радужные планы шеф после длившейся не менее полутора часов переаттестации на третий год аспирантуры. – А там – защитишься, в моей лаборатории тебе местечко сыщем... Ну, может быть, какое-то время поживёшь безвылазно на ББС. А там, глядишь, женишься на какой-нибудь питерской барышне с квартирой – и все проблемы будут решены. Тем более что с нашими, к сожалению, стоит признать, увы, худосочными девицами у тебя проблем, насколько мне известно, никаких, – подмигнул мне обычно немногословный мой руководитель, бодро шагая по коридору. Ведь только что состоявшаяся переаттестация, – из-за разногласия каких-то, плохо понятных мне школ и направлений, – была более успешной для него, чем для меня. – Ты же у нас, – обернулся он ко мне, едва поспевающему за его широким, уверенным шагом, – «крепкий сибирский мужичок». Знаешь этот анекдотец?

Мы уже подошли к нашему отделу «под крышей», чем-то, может быть, скошенным потолком напоминающему мансардное помещение, на третьем этаже.

– Не знаю, – устало, не в тон шефу ответил я.

– Ну, что ты! Тебе его надо знать! – сделал он нажим на слове «надо». – Слушай! – Шеф остановился у высокого окна, глядящего на Неву.

Я, немного поразмыслив, присел на широкий невысокий подоконник, нарушая субординацию и безразлично глядя то на реку, то на чересчур оживлённого шефа, а он, опершись плечом о стену, в идеально сидящем на нём добротном костюме, начал рассказывать анекдот про крепкого сибирского мужичка.

– Одного дипломата как-то спросили: «Объясните, что такое челночная политика?» «О, это просто! – ответил тот. – Например, я хочу, чтобы между Россией и Западом были хорошие отношения. Что я для этого делаю? Забираюсь куда-нибудь в глушь. Нахожу там крепкого сибирского мужичка и спрашиваю его: “Не хотели бы вы жениться на дочери Рокфеллера?” «Да на хрена она мне сдалась? – отвечает тот. – У нас и своих девок хватает!» «Но она – миллионерша!» – парирую я. «Ну, тогда это меняет дело», – почесав затылок, отвечает крепкий сибирский мужик.

После этого я отправляюсь в Европу – к управляющему ведущим швейцарским банком и спрашиваю его: «Вы хотели бы иметь директором одного из самых престижных ваших банков крепкого сибирского мужичка?» «А для чего он нам? – наверняка спросит меня управляющий. – У нас экономисты высочайшего класса на эту должность в очередь стоят». «Но он зять Рокфеллера», – добавляю я. «О, это меняет дело! – восклицает управляющий.

Затем я отправляюсь в Америку, к самому Рокфеллеру. Встретившись с ним, задаю ему вопрос: «Вы хотели бы выдать свою дочь замуж за очень богатого человека?» «Да зачем? У нас и так список претендентов на её руку в полкилометра. И притом все они очень богатые люди». «Но данный претендент – управляющий ведущим швейцарским банком», – как бы ненароком вставляю я. «Ну, тогда это меняет дело», – чуть поразмыслив, отвечает Рокфеллер.

А дальше всё уже совсем просто. Я встречаюсь с дочерью Рокфеллера и спрашиваю её, хотела бы она выйти замуж за управляющего крупнейшим швейцарским банком. «Да зачем он мне? Я и так не знаю, куда деваться от поклонников». «Но он крепкий сибирский мужичок», – выбрасываю я свой козырь. «О, тогда это меняет дело!» – радостно восклицает дочь Рокфеллера. И дело сделано!

Шеф весело хохотнул рассказанному анекдоту, который мне очень смешным не показался, хотя бы потому, что мне стало искренне жаль крепкого сибирского мужичка. Впрочем, идя вместе с шефом, я понимал, что основной причиной такой несвойственной его весёлости был не только что рассказанный анекдот, а закончившаяся буквально несколько минут назад, после нешуточных дебатов, аттестация, после которой его «за хорошее руководство аспирантом» похвалил сам академик Скорлато. Часть похвалы бумерангом, «за упорство и трудолю-

бие» и уже от моего патрона, в его ответном слове «высокому собранию» и директору института досталась и мне. Однако я, в отличие от моего шефа, радости особой не испытывал. Более того, чувствовал, что мне надо что-то серьёзно и безотлагательно обдумать. Хотя что именно, я этого наверняка ещё не знал.

– Ну, ладно, я к себе, – кивнул мне на прощание шеф, уже распахивая дверь кабинета, сбоку от которой на медной дощечке были перечислены все его научные регалии. – Дня через два – зайди, обсудим статью в Гидробиологический журнал. Экспериментальные данные, надеюсь, у тебя уже приведены в порядок?

– Они в полном порядке, сэр, – браво доложил я, вытянувшись во весь свой не могучий рост.

– А насчёт женитьбы действительно подумай, – в дверях остановился шеф, снова обернувшись ко мне и, кажется, совсем не обратив внимания на мой экстравагантный ответ. – Дело это серьёзное и крайне необходимое. А если ещё женитьба удачна – то и подавно. Как там у Пушкина: «...Кто в двадцать лет был франт иль хват, а в тридцать выгодно женат...» Вот об этом, о выгоде своей, и подумай.

– Да мне до тридцати ещё три года, – вяло парировал я.

– Лермонтов в двадцать семь уже погиб на дуэли, – отрубил мой патрон, закрывая за собою дверь кабинета.

Немного постояв и словно не решив, что делать дальше, я снова уселся на широкий прохладный подоконник единственного в коридоре нашего отдела высокого окна и стал неотрывно смотреть на тревожную, коричневатую, неспешно несущую свои воды Неву, тоже припомнив Пушкина.

«Над омрачённым Петроградом дышал октябрь осенним хладом...»

И действительно, чувствовалось, что на улице холодно, ветрено, сыро. И послеобеденное время скорее походило на ранние, отнюдь не октябрьские, а декабрьские сумерки. Отчего казалось, что больше обычного в этой фиолетовой «жиже» призывно, янтарным светом, блистали и манили к себе окна Эрмитажа, где я сегодня в Рыцарском зале в пять часов вечера должен был встретиться с аспиранткой Ленинградского государственного университета Еленой Тучкиной, с которой был знаком уже около года.

Обычно именно там время от времени я назначал свидания своей очередной девушке (большинство из которых тоже были аспирантами из различных городов и республик необъятной «империи» – СССР). Знакомился я с ними или в нашем институте на какой-нибудь научной конференции, или в аспирантском общежитии. А в Рыцарском зале любил назначать встречи, потому что он мне нравился больше других залов Эрмитажа какой-то своей необычайностью. Словно на машине времени ты перенёлся вдруг на несколько веков назад и оказался среди рыцарских доспехов и мечей, с помощью которых бесстрашные воины прокладывали себе путь к славе. В этом просторном гулком зале почти всегда бывало тихо, немногочленно, торжественно. И в то же время как-то протяжно одиноко, даже если ты был здесь не один, а с очаровательной спутницей. И это одиночество внутри тебя навевало некую элегическую грусть, отчего хотелось говорить только «высоким штилем». А глядя на конного рыцаря, мечталось ускакать куда-то далеко, в жаркие страны. Пусть даже в Палестину, ко Гробу Господню, дабы, совершив сей подвиг, уверенно просить руки дамы сердца...

Елена Тучкина, в отличие от иных моих знакомых, являлась коренной петербурженкой и жила где-то недалеко от нашего института, тоже на Васильевском острове. И думая о ней, я почему-то вспомнил Бродского.

«Ни креста, ни погоста – не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать», – так, кажется, у него. А тем не менее последнее его пристанище – Венеция...

Елена самозабвенно любила свой город, свой Васильевский остров и жизни в другом городе себе не представляла, считая подарком судьбы появление на свет именно здесь, среди

гранита набережных и изысканных зданий Растрелли и других великолепных архитекторов. Она была худощава, подвижна, мила, остроумна и очень интеллигентна, но я её, как, впрочем и других моих нечастых, мимолётных подруг, – увы, не любил. Мне бывало с нею хорошо, спокойно, порою даже очень хорошо, совсем не скучно. Но не более того, поэтому представить её рядом с собой на всю жизнь я не мог. Не исключено, что приблизительно так же о наших отношениях думала и Лена. Хотя одна фраза при нашей предыдущей встрече в кафе, кажется, выдала её: «...и запомни, что из Питера уехать я ни при каких обстоятельствах не смогу, да и не хочу. Впрочем, и ты вроде бы тоже здесь собираешься осесть? Так что особых разногласий у нас, надеюсь, на этот счёт не будет». Возможно, это была лишь оговорка, а не просчёт ситуации наперёд, как увиделось мне. А может быть, просто тогда было выпито немало вина?..

Несомненно, Елена была лучшей из всех моих тогдашних знакомых, но и в ней чего-то для меня не доставало. Вернее, не для меня, а для такого сумбурного непредсказуемого чувства как любовь, когда теряешь голову и не стыдишься делать глупости. Голова моя была, к счастью, несчастьем ли, на месте, и делать прекрасные глупости я не спешил. А все эти предыдущие переборы с дамами, которые, как выяснилось, заметил даже мой шеф, в конечном счёте, значит, были не более чем экспериментом по выяснению совместимости двух, абсолютно различных порою личностей.

Как правило, расставаться со своими знакомыми я старался без истерик и трагедий, если даже отношения наши заходили далеко...

К тому же мне тогда казалось, а может быть, так оно и было на самом деле, что я уже был всерьёз влюблён в очаровательную девушку Маргариту Оленину. Ведь именно Олениной, правда, Анне Алексеевне, Пушкин в 1828 году посвятил чудесное стихотворение: «Ты и Вы». Поэтому от одного только произнесения этой фамилии на меня, казалось, веяло нетленной патриархальностью славной старины, где предполагалась порядочность и где «нравственность», если верить Неккеру, «была в природе вещей». А если ещё добавить, что Маргарита почти не умела грустить и была к тому ж непредсказуема, то очень приблизительный её портрет будет именно таков.

Я с нетерпением ждал от неё писем. И сам писал ей довольно часто. Гораздо чаще, чем она мне. Стараясь с юмором описывать моё житьё-бытьё здесь, в Северной столице. И этот «почтовый роман» был моей сокровенной тайной от коллег, да и кого угодно, в которую никто не допускался. Хотя я чувствовал, вернее, понимал умом уже тогда, что вместе нам, пожалуй, не быть, несмотря на то, что Маргарита отвечала взаимностью на мои чувства. Однако также легко она отвечала взаимностью, правда, до меня, и тем, о ком я знал, а возможно, и многим другим, о ком я не ведал. В народе это называется любвеобильностью. Действительно, угадывалась в ней какая-то предельность во всём. Словно она проживала всякий раз свой последний в жизни день. Ей постоянно не доставало веселья, карнавала, новых ощущений и чудес! Она всё время боялась чего-то не успеть. Наверное, девушку с такими задатками в полной мере мог бы устроить только волшебник, каковым я, увы, не являлся. И тем удивительнее было то, что из многочисленных своих поклонников она явно выделяла именно меня, порою даже в кругу знакомых, когда мы бывали вместе, нарочито подчёркивая это. И нередко, что греха таить, мне это нравилось и льстило самолюбию. Порою во время какой-нибудь весёлой дружеской пирушки в нашем родном городе (куда я приезжал на каникулы или просто прилетал на два-три дня на какой-нибудь праздник), когда Маргарите чаще, чем другим присутствующим дамам, отпускались комплименты подвыпившими приятелями, а кавалеры из-за соседних столиков ресторана подходили «пригласить даму на танец», она рассеянно поднималась со стула, глядя куда-то вдаль или внутрь себя, клала руку на плечо пригласившего её... И вдруг, как будто припомнив что-то очень важное, вместо того чтобы идти танцевать (а танцевать она любила), оборачивалась ко мне, брала под руку, слегка потянув к себе, и, мило улыбаясь растерянному кавалеру, произносила: «Я танцую с ним» или: «Нам пора. Всем – пока!» Внезапно покинув

обескураженных друзей, надев в гардеробе плащи, мы, будто торопясь куда-то, выходили под осенний дождь и прямо на крыльце ресторана начинали целоваться с таким неистовством, словно через миг нам суждено будет на веки вечные расстаться. И непонятно было, то ли это дождь струит по нашим лицам, то ли слёзы от краткости жизни, от невечности любви, от предстоящей разлуки, перенести которую казалось невыносимым делом.

Вспомнив про зонт, Маргарита раскрывала его, и мы, прижавшись друг к другу, шли по освещённым жёлтым светом промытых дождём фонарей улицам, с таинственно блестящим под ногами бездонной чернотой асфальтом, не задумываясь о том, куда бредём. Иногда, ещё плотнее прильнув ко мне и горячо и щеотно дыша в ухо, Рита шепотом произносила: «Идём ко мне. Родители на выходные уехали на дачу... В нашем распоряжении вся ночь и половина дня. Я люблю тебя...» – И уже громче, будто искренне возмущаясь: «А почему ты мне об этом никогда не говоришь?! О том, что безумно любишь меня?!»

Пожалуй, «безумно» было бы самым точным словом в наших отношениях. Но, тем не менее, эти минуты с Ритой были самыми лучшими. И порою даже казалось, что мы составляем нечто единое, неразделимое, целое.

А на следующий день, ближе к полудню, когда мы раза два после бессонной ночи успевали позавтракать, я, оставляя в просторной квартире дремлющую Маргариту, бредя домой, с неизменной грустью думал: «И это всё? И это называется счастьем? И неужели так называемая “всепоглощающая любовь” и есть цель жизни? Но почему ж тогда кроме звенящей пустоты, какой-то выпотрошенности, после этих действительно безумных ночей во мне как будто ничего не остаётся?» Вопросы были без ответов, потому что уже к вечеру я начинал грустить о Маргарите и, словно почувствовав мою грусть, раздавался телефонный звонок.

– Привет, – тихим, несвойственным ей голосом, говорила Рита. – Ты уже успел соскучиться по мне? Если да – приходи на пирожки со щавелем. Мама их настряпала целую гору. А после ужина можем пройтись...

Надо отдать Маргарите должное – она всегда, при любых обстоятельствах, была со мной честна. И её горячие безудержные поцелуи, и слёзы раскаяния, когда она рефреном повторяла лишь: «Прости меня... Только теперь я поняла, что кроме тебя мне никто не нужен...», всегда исходили, казалось, из самого сердца.

И я прощал её, потому что любил. Однако в глубине души всё-таки представлял семейную жизнь не как постоянно извергающийся вулкан и не как бушующий океан, а как спокойную гавань, в которой можно укрыться от житейских бурь. И когда после двух месяцев пребывания в родном городе я улетал в Ленинград, то испытывал, по большей части, даже некоторое облегчение. Ибо в таком накале, в котором жила моя подруга, я жить не мог. Порою мне казалось, что мы просто испепеляем друг друга. Рита всегда провожала меня до аэропорта и бывала в такие минуты тиха, молчалива, говорила негромким голосом и, не отпуская мою руку, просила только об одном: «Возвращайся как можно скорее. Я буду тебя ждать и буду с радостью зачеркивать в календаре каждый прожитый без тебя день. Ты же сможешь прилететь на Новый год, как в прошлый раз?..»

В такие минуты я понимал, что по темпераменту мы абсолютно разные люди. Я, например, не особо страстный человек. И мне нередко доставляло гораздо большее удовольствие, скажем, играть в футбол, чем «играть в любовь». Ибо в первом случае я испытывал чисто физическую, ничем не замутнённую радость, а во втором – к приятным ощущениям отчего-то добавлялись и угрызения совести, когда говоришь самому себе: «Не то я делаю, не то...» Ведь я, пусть даже ненароком, не давая никому никаких обещаний, всё-таки обманывал кого-то (и в первую очередь, может быть, самого себя) иллюзией любви. Более того, после особо бурных интимных отношений с понравившейся девушкой я словно видел перед собой только зияющую, никуда не ведущую пустоту. Не в первый раз осознав простую истину – без искренних чувств любые отношения между мужчиной и женщиной только физиология. И мог ли я

требовать верности от Риты, когда и сам порой бывал неверен ей? В своих рассуждениях я, в конце концов, запутывался и приходил к одному бесспорному выводу, что моим идеалом являются отнюдь не Ромео и Джульетта Шекспира с их безумной молодой и безудержной страстью, а старосветские помещики Николая Васильевича Гоголя, с их размеренной неспешной жизнью. И в этом случае мне, конечно же, больше подходила Елена Тучкина – потомок славного рода мелкопоместных дворян. Однако, и увы, меня, как мотылька к огню, неудержимо тянуло к Маргарите – этой яркой, взбалмошной, всегда неожиданной девушке, прогуливаясь с которой я нередко ловил завистливые взгляды проходящих мимо мужчин на себе и восторженные на ней.

В её последнем довольно сухом и почти лишённом присущих ей эмоций письме «о делах, заботах, учёбе в университете, погоде» в самом конце вдруг прорвались такие строки: «Я устала тебя всё время ждать. Я устала всё время быть без тебя. Я не знаю, что я могу без тебя натворить... Пожалуйста, скорее приезжай. Ведь я старею, меняюсь ежеминутно. И такой, какая я сегодня, уже никогда не смогу быть. Когда ты получишь это письмо, я стану старше минимум дня на три, а то и на неделю. А я не хочу проживать дни без тебя... До-свидания. Пока ещё твоя. Марго-Рита».

Именно так, через дефис иногда, перед принятием каких-то важных для неё решений, она писала своё имя. Выходило и Марго, как я иногда в шутку называл её, и Рита, словно это были два разных человека. Впрочем, все мы в себе нередко носим таких разных людей. Недаром же Фёдор Михайлович Достоевский говорил: «Широк русский человек. Слишком даже широк. Я бы сузил».

Воспоминание о Маргарите, желание как можно скорее увидеть её, больше всего сейчас занимало меня, сидящего с вытянутыми ногами, почти во всю длину его, на широком подоконнике, прохладу которого я ощущал как холод безнадёжности. Даже выкрашенная, как и подоконник, белой краской стена в нише окна, о которую опирался спиной, казалась чуть теплее дерева.

Дело в том, что каникулы мои закончились чуть больше месяца назад, а следующие – предполагались только будущим летом, да и то навряд ли. Ведь надо будет заниматься доведением до логического конца диссертации. А значит, уехать из Питера я, скорее всего, не смогу, поскольку нужен будет прямой и достаточно частый контакт с шефом.

И тут передо мной вставал простой на первый взгляд вопрос, порождающий, в свою очередь, череду других вопросов: «А надо ли мне вообще защищать кандидатскую диссертацию? Надо ли мне заниматься наукой? Моё ли это дело? Хочу ли я служению ей посвятить всю свою жизнь?..» Утвердительных, уверенных ответов на все эти вопросы я не знал. Более того, смутно угадывал в себе иную потребность – мне всё чаще и всё больше хотелось заниматься литературным трудом, попытавшись перенести на бумагу всю неповторимую полноту жизни, присущую каждому человеку с живою душой.

Мои многочисленные наброски, сотканые из самых разнообразных эпизодов: таёжных, морских, а то и из необычных житейских ситуаций – всё это настойчиво просилось стать чем-то более самостоятельным, чем просто дневниковые записи, которые я вёл и которые теперь мне представлялись лишь пунктиром, вешками, штрихами, увы, не отражающими до конца всю полноту событий... Наверное, вот так же опытный энтомолог «фиксирует», прищипливая булавкой к картону, очередной редкий экземпляр бабочки с необычайно красивым узором на крыльях, превращая живое в неживое – в экспонат, в часть своей коллекции. Но этот экспонат не может объяснить, как жила бабочка, где она летала, какие любила цветы. Поэтому и мне виделась совсем иная задача, диаметрально противоположная: из мёртвого, вернее, уже минувшего, создать живое. И чистый лист бумаги манил, но и страшил меня. Ибо его белую девственную поверхность я должен был заполнить чёрными знаками, знаками судьбы, жизни. И ответственность за качество этой новой жизни, за новую сотворённую реальность будет впо-



следствии нести единственное существо в мире – автор. То есть я сам, поскольку в данном вопросе помочь никто не может. Помощи не докличешься ниоткуда. Ведь цель творчества до конца не ясна. Я стоял у Рубикона, но перейти его, как это в одночасье сделал храбрый Александр Македонский, не решался. И очень часто белый лист обычного формата, вещь совершенно безобидная, часто вызывал у меня неотвратимую боязнь, так и оставаясь «белым безмолвием». Порою даже более опасным, чем приполярная тундра где-нибудь на Таймыре. Где я бывал и где так явственно ощутима беспомощность и одиночество любого человека. Особенно в предчувствии пурги. Когда с сосущей сердце тоской осознаёшь, что вся надежда теперь только на собак. На их выносливость и ум, на их врождённое чутьё, на волю к жизни... Они и согреют под снегом в случае нужды, и вывезут потом к становищу аборигенов, к их конусообразным ярангам из оленьих шкур, от которых сверху отделяется дымок, быстро тающий в низком сером небе.

Я понимал, конечно, что материализация порою весьма хаотичных мыслей, превращение их в литературный текст и есть самое сложное, сродни волшебству – из ничего создающему Нечто, и что без дара Божия здесь не обойтись. Но именно писать, создавать образы мне больше всего в глубине души и хотелось. Пусть даже постоянно ощущая неподатливость Слова – «сопротивление материала», порою более стойкого, чем гранит, противящийся скульптору в превращении глыбы в изящную статую. И в конце концов мне реально хотелось увидеть свои преобразованные мысли и чувства, ставшие художественным текстом.

Одним словом, я не был до конца уверен, что у меня в этом деле хоть что-то получится. И фактически изменением судьбы, в случае неудачи, готов был расплатиться за своё непростое решение.

«Ну что ж, попробую, рискну! Пока ещё не поздно. Пока ещё не засосала окончательно “трясина науки”. Пока я ещё относительно молод. Пока ещё мое желание не перетёрлось в пыль, не стало трухой прошлогодней листвы. А вдруг да получится!.. Ведь, в конечном итоге, воплощённое в жизнь призвание и есть настоящее счастье. Ибо работа – это единственное, что тебе никогда не изменит. Тем более что жизнь так скоротечна. И не стоит её разменивать на мелкую монету, на пустяки».

На сегодняшний день у меня вышло уже несколько книг. И размышляя ныне о том начальном периоде, отдалённом от нынешнего на три десятка лет, я вспоминаю о нём как о самом тревожном, трудном, неустойчивом, но в то же время как и о самом дорогом, поскольку во мне, я это чувствовал, вызревали тогда неясные ещё и мне самому образы, выстраивались сюжетные линии будущих рассказов и повестей – самых первых, самых дорогих и желанных. И в этой лёгкой тревоге, в угадывании и предчувствии будущего, обязательно очень счастливого, было что-то отрадное и утешительное для моей мятущейся души. Приблизительно такое же, как бывает в пасмурный, дождливый скучный день, придавленный тяжёлыми «свинцовыми» тучами, когда вдруг среди этой сырой серой массы возникнет лоскуточек голубого неба. И неожиданно ярко, и даже как-то игриво, блеснёт луч солнечного света. И всё преобразится, заиграет, заискрится бриллиантами капель, разулыбается. И река, и синяя заплатка неба где-то в вышине, и деревья и травы.

Иногда я чётко видел, представлял только какую-нибудь побочную, не главную деталь будущей вещи, способную уместиться в одной лишь фразе, например такой: «Куда всё это исчезает и... зачем?» Но по внутреннему, чуть тревожному и в то же время сладостному волнению я уже понимал, что из этого может что-то получиться. И не просто что-то, а то, что будет волновать не только меня, но и других людей, которые прочтут рассказ.

И этой «закваски» – моих былых и нынешних впечатлений, опыта, мне должно хватить – я очень на это надеялся – на всю оставшуюся жизнь. «Надо только начать. Так сказать, броситься в воду – иначе никогда не научишься плавать», – размышлял я. Но начинать, как пред-

ставлялось мне, главное дело жизни «по остаточному принципу», параллельно основной, пусть даже «не пыльной» научной работе, я не хотел. Вернее, не представлял, что можно совместить эти, на мой взгляд, несовместимые вещи: безупречную логику мыслей, основанных на опыте, и – безудержный полёт воображения, не скованный ничем, хотя также опирающийся на опыт, только иной. Не полученный экспериментальным путём результатов, а жизненный. Отчего-то я тогда не осознавал до конца, что именно так – выкраивая время от основной работы, дающей пропитание, мне и придётся потом долгое время заниматься ремеслом, которое дохода никакого не даёт. Конечно, я предполагал уже тогда, в начале своих литературных опытов, что писательское ремесло предполагает одиночество, ибо ценные мысли вызревают в тишине. Но то, что писательское ремесло (в то время когда мне вздумалось им заниматься) станет ещё и нищенским, никак не поощряемым ни государством, ни толпой, не ведал. Да и кто бы мог предугадать, что «в самой читающей стране мира» в последней четверти двадцатого – начале двадцать первого века писатель, «властитель дум», превратится в ничто, в люмпена, не имеющего никаких привилегий и прав, а «массовый читатель», в большинстве своём, просто перестанет существовать, присосавшись, подобно пиявке, к экрану компьютера или телевизора, ставшего для обывателя новой реальностью. И что писателю, как и во все времена, останется только одно неотъемлемое право – создавать «нетленку», несмотря ни на какие перипетии и обстоятельства жизни. Но, даже написав хорошую книгу, литератор, в подавляющем большинстве случаев, особенно если это малоизвестный автор, будет самостоятельно, поскольку государственных издательств почти не осталось, добывать деньги на публикацию, хотя бы и мизерным тиражом, своего произведения. А предполагаемые спонсоры, к которым литератор вынужден обращаться, обычно смотрят на него – «дармоеда», занимающегося не приносящим дохода делом, в лучшем случае, как на дурака. В худшем, как на престарелую проститутку, давно «вышедшую в тираж», но всё ещё пытающуюся понравиться клиенту, от воли которого зависит дать ей денег или прогнать вон.

\* \* \*

Ровно в пять часов вечера я был в Рыцарском зале Эрмитажа. Любуясь конной композицией средневекового воина, я иногда поглядывал на дверь, поджидая Елену, которая на заранее назначенные встречи обычно не опаздывала.

Ожидая её, я вспомнил, как мы познакомились на какой-то конференции «молодых учёных», проходившей в нашем институте. У нас обоих на этом солидном мероприятии были небольшие доклады. Довольно успешно отчитав их, мы как-то очень легко на одном из перерывов познакомились, почувствовав взаимную, ничем не объяснимую, приязнь друг к другу. С первых минут нашего знакомства я стал выделять Елену из всех своих приятельниц и чувствовал, что тоже нравлюсь ей. Хотя и угадывал некоторую её настороженность по отношению ко мне. Наверное, это было следствием того, что никаких признаний в своих чувствах я ей не делал, и она, пожалуй, не понимала до конца ни меня, ни моих намерений вообще и относительно неё в частности. В Елене мне многое нравилось, но иногда я ощущал внутри себя какое-то глухое раздражение её прямо-таки рафинированной, «приторно-сладкой», на мой взгляд, интеллигентностью, которая, по-видимому, у неё была врождённой, унаследованной от многих поколений предков, исконных петербуржцев...

Краем глаза, не поворачивая головы в её сторону, я увидел, как она стремительно вошла в зал. Остановившись возле широко распахнутых, высоких и, казалось, очень тяжёлых массивных двустворчатых дверей с блестящими медными ручками, она окинула взглядом зал и, улыбаясь, направилась ко мне.

– Привет! – прерывисто дыша, проговорила она, приблизившись. Я обернулся, сделав вид, будто только что заметил её. А она весьма непринуждённо поцеловала меня в щёку: – Извини, что опоздала... Зато у меня для тебя есть, надеюсь, приятный, сюрприз!

– Привет, – отозвался я, взглянув на часы. – Ну, пять минут опоздания для такой красивой (здесь я немного преувеличил) девушки, как ты – сущие пустяки. Я тут, пока пребывал в ожидании, даже стих про тебя сочинил. «Пред вами Тучкина Елена, как рыцарь, преклоню колено!» – продекламировал я, изобразив какое-то немыслимое па и действительно преклонив колени, поцеловал её бледную изящную руку, тем более что в зале мы были одни, если, конечно, не считать молчаливых, напыщенных «рыцарей» в зловеще блестящих боевых доспехах с опущенными забралами.

– Да вы, сударь, я гляжу, истинный кавалер! – ещё больше раздурманилась Елена. – А я-то, грешным делом, вначале приняла вас за стремянного этого грозного великана.

– Уж если я и являюсь чьим-то слугой, так только вашим – родник моего сердца и отрада моих очей, – продолжил я дурачиться.

– Кажется, о слугах я ничего не говорила?

– Но, согласитесь, милая дама, что стремянной не может быть другом рыцаря, и уж тем более его господином. В лучшем случае – боевым товарищем.

– Фу, какой ты, Игорь, подробный! – капризно надула она свои прелестные губки. И тут же, улыбнувшись вновь открытой приветливой улыбкой, продолжила: – Угадай, какой у меня для тебя сюрприз?

– Ты раньше всех успела узнать, что мне присудили Нобелевскую премию в области биологии за открытие гена любви.

– Я серьезно спрашиваю.

– Теряюсь в догадках, моя чаровница. Хотя несколько версий у меня имеется, – всё никак не мог я отделаться от шутивого тона. – Не исключено, что ты решила подарить мне меч и рыцарские доспехи. Меч, чтобы разить врагов, а латы – чтобы быть неуязвимым для стрел Амура, этого проказника, вытворяющего с людьми бог знает что... Есть у меня и более смелые предположения. Ты выиграла по лотерейному билету, добровольно-принудительно распространяемому профкомом, кучу денег и решила купить яхту, чтобы отправиться на ней в тёплые края. Кстати, могу предложить свою кандидатуру в качестве матроса, кока или массажиста.

– Над последней заявкой я подумаю. Хотя какие у вас всё меркантильные предположения, мой друг. Впрочем, о тёплых странах: вдвоём, да ещё на яхте – это заманчиво... Однако сюрприз мой несколько иного свойства. Не из сферы материи, а, скорее, из сферы духа.

– Надеюсь, не святого?

– Не богохульствуй, Игорь, – серьёзно ответила она и, порывшись в сумочке, вынула оттуда два билета в театр, торжественно приподняв их над головой. – Вот, смотри, что я достала! В БДТ премьера «Тихого Дона», в постановке самого Товстоногова! В главных ролях Олег Борисов и Светлана Крючкова, начинающая, но, говорят, очень талантливая актриса. Как считаешь, заслужила я за это поцелуй?

– И не один, а как минимум, дюжину, – ответил я и вознамерился поцеловать Елену в её вновь капризно надутые губы. Увы, в сей самый миг в зал начала вливаться припозднившаяся группа «организованных иностранных туристов», сопровождаемая громко вещающим гидом-переводчиком, коим оказалась миловидная девушка, быстро прошедшая на середину зала с длинной указкой. Подождав, пока пёстро одетая группа выстроится перед ней полукругом, она начала рассказ по-немецки, время от времени тыча указкой, как копьём, в панцирь нашего конного рыцаря и стоя у морды лошади, только с противоположной стороны.

Обогнув круп боевого коня и миновав группу рослых немцев и немок, внимательно слушающих миниатюрного экскурсовода, мы потихонечку вышли из зала.

– Теперь ты мой должник, – не сумев скрыть вздох разочарования, произнесла Елена в длинном, гулком, празднично освещённом коридоре, в котором вдоль стен на своих стульях у открытых дверей в другие залы подрёмывали аккуратненькие седовласые старушки – смотрители музея, сами уже давно превратившиеся в его экспонаты.

– Да отслужу я, боярыня, не сумлевайтесь, – попробовал развеять я в том числе и свою досаду от предвкушаемого, но несостоявшегося поцелуя. Тем более что с Леной мы ещё ни разу по-настоящему не целовались.

– Игорь, не паясничай, пожалуйста. Тебе это не идёт, – немного раздражённо отреагировала она на мою шутку. – Давай встретимся завтра в половине седьмого у театра. Хорошо? – уже более примирительно произнесла она. – И не сердись на меня, пожалуйста. Просто день сегодня был довольно трудный. Возилась со статьёй, которую шеф уже третий раз заворачивает. А ведь у меня, как и у тебя, последний год аспирантуры, и надо успеть подготовить «дисер», – перешла она на аспирантский сленг, что делала крайне редко. – Проводи меня до метро. У нас сегодня ужин с родственниками, и мне надо быть дома к семи. Да, и возьми билеты – они должны быть у мужчины. В общем, встречаемся завтра, как договорились. Хорошо?

– Хорошо, – не очень вежливо ответил я.

– Ты всё-таки обиделся, – с сожалением произнесла Елена. И мы молча продолжили путь, теперь уже спускаясь к гардеробу по широкой мраморной лестнице, заканчивающейся в просторном, хорошо освещённом вестибюле дворца с его парадными высокими дверями с изящно изогнутыми линиями внутреннего каркаса – хорошо отполированного коричневатого цвета дерева, обрамляющего толстое стекло, сквозь которое была видна тёмная, почти чёрная Нева. И, колеблемые лёгкой рябью воды, плавающие в ней большие круглые плафоны светящих мягким жёлтым светом «одноногих» фонарей, широко «шагающих» вдоль гранитной набережной на своих высоких, словно у цапель, «ногах».

Их свет, цепочкой уходящий вдаль вдоль набережной, заманчиво блистал яичными желтками, и ни глянцева чернота воды, ни темнота промозглого осеннего вечера не в силах были поглотить его. И это отчего-то вселяло надежду, что всё будет хорошо.

Ветер снаружи, и особенно у реки, куда мы подошли зачем-то, перейдя улицу, был пронзительный, колкий, холодный, с чувством хозяина забирающийся под наши плащи.

– Знаешь, лучше проводи меня до остановки троллейбуса – это ближе, – попросила Елена, беря меня под руку, свободной придерживая поднятый ворот плаща.

Обогнув угол здания, мы вышли на Дворцовую площадь, где ветер уже не был так свиреп. Перейдя её, поднырнули под арку Генерального штаба и, миновав телеграф, оказались на Невском проспекте. Тут ветер был уже не властен. Но, несмотря на это, не оставляло ощущение, что он успел просвистать нас насквозь, выветрив всё самое хорошее и теплое, с чем и ради чего только и стоит жить...

Я вспомнил вновь о Маргарите, её письме. Однако вспомнил уже как-то вяло, отстранённо, словно о чём-то постороннем, очень давнем, почти забытом, мало трогающем сердце. Так бывает, когда «непереносимые» детские обиды со временем становятся смешными.

На следующий день, прямо с утра, чтобы не передумать, я написал заявление с просьбой об отчислении меня из аспирантуры по собственному желанию. Весь день затем отражая «атаки» увещающих меня, предлагавших не пороть горячку и закончить аспирантуру, доказывающих и аргументирующих свои доказательства, что я поступаю глупо. И что если я не полный идиот, то должен заявление своё из канцелярии побыстрее, пока ему ещё не дали ход, забрать и забыть о нём как о страшном сне...

Вечером, в половине седьмого, мы встретились с Еленой у театра, уже на дальних подступах к которому толпа любителей театрального действия, к которым я себя не причисляю, с горящими глазами «стреляла» у прохожих,двигающихся в направлении БДТ, лишние биле-

тики. Несмотря на моё скептическое отношение к театру, к его какой-то, на мой взгляд, ненатуральности, спектакль действительно был хорош. Однако восторги Елены, перехлёстывающие прямо-таки через край, казались мне всё же чрезмерными. И чтобы не портить вечер ни ей, ни себе, я не стал говорить о принятом мною сегодняшним утром решении. Тем более что в конце недели я был зван на родительскую дачу – «на закрытие сезона», «отжимки», с домашним вином из черноплодной рябины – «производство отца» и «очень вкусными мамиными голубцами».

– Ты только торт какой-нибудь купи или цветок. Тогда ты им стопроцентно понравишься, – проговорила Лена, и я окончательно понял, что мне пора домой.

Смотрины в мои планы не входили. Я очень хорошо относился к Лене, тем более что человеком на самом деле она была славным, но всё-таки я не любил её. И это было главным.

В конце недели в аэропорту Пулково, ожидая посадки в самолёт, я написал ей – не то короткое письмо, не то пространную записку, в которой извинился за невозможность, в связи со срочным отъездом, побывать у них на даче и познакомиться с её родителями, а также попытался объяснить свой нелогичный с точки зрения «здорового смысла» поступок с аспирантурой. В конце подсластив «пилюлю» фразой, в которую тогда почти что верил: «Лена, ты замечательный человек, и я тебя почти люблю. Но я тебя, поверь, не стою. До свидания, а может быть, прощай».

\* \* \*

В родном городе я оказался никому не нужен. Вернее, не нужен я стал советской науке. А ещё точнее – родному институту, который направлял меня в аспирантуру и который ожидал меня лишь через год остепенённым специалистом. Без учёной же степени мне могли предложить только должность лаборанта или, в лучшем случае, инженера...

Почти полгода я промыкался в поисках работы по академическим учреждениям. Где-то сразу получал отказ: «Тема работы не по нашему профилю». Где-то – предложение, на которое я, после двух лет аспирантуры в Питере, так же, как и в родном институте, согласиться не мог – не позволяла гордость. «У нас вакантно место лаборанта», – обычно слышал я ответ в очередном отделе кадров. А на мой вопрос: «В чём заключаются его обязанности?» получал исчерпывающую информацию: «Пробирки мыть. Причём очень тщательно. Оклад, конечно, небольшой – зато есть реальная перспектива роста...»

В свободное от хождения по институтам время, которого у меня теперь было предостаточно, я успел перечитать массу книг из домашней библиотеки и ясно понял, что никакого триумфального въезда на белом коне в литературу у меня в ближайшее время, по-видимому, не предвидится. Более того, может быть, это «ближайшее время» будет отодвинуто от сегодняшнего на многие-многие годы. Через шесть месяцев, почти постоянно ощущая свою незначительность и ненужность, испытывая угрызения совести по поводу того, что в двадцать семь лет (Лермонтов к этому времени уже на дуэли погиб, успев стать классиком русской литературы. Прав был мой шеф!) сижу на шее у родителей, я заработал язву двенадцатиперстной кишки и наконец-то понял, что работу мне надо искать в иных, не научных, более грубых сферах. Это во-первых. И, во-вторых, не стоит постоянно поддаваться унынию. Жизнь, несмотря ни на что, всё-таки продолжается. И надо постараться из негатива извлечь позитив.

Стоит сказать, что родители не докучали мне своими советами и за безделье не корили, видимо, понимая, что с их сыном происходит что-то необычное, судьбоносное. Хотя, конечно же, вздыхали украдкой – я это замечал – от моей непутёвости, в глубине души наверняка жалея, что я бросил аспирантуру, где у меня всё складывалось так удачно. Да мне и самому теперь поступок мой казался странным, необъяснимым, лишённым смысла.

С Маргаритой, о которой я так часто думал перед возвращением домой, отношения стали какими-то постными, будто мы внезапно впали в летаргический сон и никак не можем проснуться, а встречи – редкими. Возможно, это происходило оттого, что я, казалось навсегда, утратил свой природный оптимизм и веру в неизбежную удачу. Мой внутренний стержень, так долго до того удерживающий независимую гордую осанку, теперь как будто бы слегка прогнулся, не выдержав тяжести неразрешённых житейских проблем, свалившихся на мои плечи.

Порою, особенно во время весёлой дружеской пирушки, мне начинало казаться, что я всё тот же, прежний. Что вот ещё немного, и я смогу распутать этот гордиев узел. Но, заглядывая в глубину своего сердца, я видел там ужасающую разруху и чувствовал безмерную тоску. Я сознавал, что потерял себя, но как найти – не знал. Может быть, оттого, что перспективы впереди вырисовывались теперь весьма туманные, в отличие от чётких и прямых (как его проспекты), имеющих в Питере. И, самое главное, я начинал осознавать, что становлюсь неинтересным даже самому себе.

В конце концов, в начале февраля, по протекции отца моего давнишнего приятеля, я устроился в СМУ «Водстрой» буровиком.

– Работа у нас не из лёгких. Особенно зимой. Но зато и заработки – будь здоров! – подбадривал меня мастер участка Судаков после прохождения всех формальностей, намереваясь отправить в недоукомплектованную бригаду, работающую на какой-то отдалённой кошаре в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

На этой, забытой богом и пустующей зимой степной кошаре требовалось пробурить почти двухсотметровую скважину, чтобы добыть необходимое количество воды для стад овец, пасущихся там летом.

– Значит так, – продолжал инструктировать меня мастер, – до Олоя доедешь с автостанции, рейсовым автобусом. А там километров пять-шесть в сторону Хазаргая, или на попутках, или пешком. Метрах в двухстах от дороги увидишь буровую вышку и синего цвета балок. Там твоя бригада и стоит. Бригадир – Мельник Михаил Сергеевич. Мужик основательный. Один из лучших в нашем управлении. По три скважины в месяц, если не сильно глубоких, даёт. Оттого и заработки у них высокие. Хотя, конечно, контингент разный бывает, – счёл нужным Судаков осведомить о наболевшем, – текучесть кадров на буровых страшная. Но ты, паря, не унывай, – вновь подбодрил он. – В бригаде Мельника ты за один месяц столько получишь, сколько за два года в своей аспирантуре не видал. Одевайся только потеплее. Вишь февраль-то свирепый какой нынче выдался. Ватные штаны, телогрейку, валенки получил? – спросил он, критически оглядывая мою зимнюю куртку на синтепоне, в которой я «гарцевал» в Питере. – Куртёшки там такие – на тараканьем меху – не спасут, – сделал он категорический вывод и, ещё раз оглядев меня, добавил: – Чё-то не нравится мне твой кислый вид. Давай-ка вот что лучше сделаем. Через пару дней в эту бригаду пойдёт машина с соляжкой. Она тебя к месту и доставит. Ничего, вчетвером пока поработают – не впервой! – возвысил он голос. – А то мне тебя одного пока отпускать страшновато. Не дай бог околеешь ещё где, в степи. СМУ мне этого не простит. Из тебя, может быть, – криво улыбнулся он, – при твоей-то учёности! – глядишь, в скором времени хороший мастер участка образуется. Подучишься на курсах буровых мастеров в Ростове и сам будешь бригадами командовать, – не веря самому себе, закончил мастер. И, уходя уже куда-то по делам, добавил: – Значит седьмого, через два дня, жду тебя в конторе к восьми утра.

\* \* \*

Шофёр, с которым мы выехали в бригаду, был под стать погоде, сумрачен и неразговорчив. И только когда мы миновали неприглядные пригороды, он разжал зубы, спросив:

– Снизу не сильно дует?

– Всё нормально, – попробовал я быть оптимистом, чувствуя себя в ватных штанах и телогрейке неуклюже и как-то раздуто.

Шофёр мельком взглянул на меня и, видимо, не поверив моему мажорному тону, заговорил раздражённо:

– Сколько раз говорил я им – надо утеплить к зиме кабину! А, впрочем, как ни утепляй – толку мало. Ездим на старье, которое давно пора менять! Не дай бог, где на трассе заглохнешь – пропадёшь. У нас, так вот, один в прошлом году, тоже в феврале, тормознулся в степи... Попытался паяльной лампой в кабине греться, да, видно, заснул. Ну, вместе с машиной и сгорел.

Снова плотно сомкнув губы, он стал неотрывно смотреть на уходящую за дальние холмы дорогу, чёрный асфальт которой белыми языками вылизывала бегущая впереди машины быстрая позёмка.

– А ты чё всё молчишь? Рассказал бы чего интересненькое, – не поворачивая головы в мою сторону, произнёс шофёр.

– В этот день, пятьдесят восемь лет назад, в Иркутске, без суда и следствия, большевики расстреляли адмирала Колчака. А тело сбросили в прорубь на Ангаре, недалеко от Знаменского монастыря, который мы часа полтора назад проехали, – озвучил я свои мысли.

Шофёр с любопытством взглянул на меня и, отвернувшись, опять замолчал.

«День начался очень весело», – мысленно прокомментировал я ситуацию и попытался в продуваемой, как щелеватый скворечник, кабине хоть немного подремать. Кажется, мне это удалось, потому что я вновь полностью вернулся к действительности, только когда мы свернули с трассы на гравийную дорогу и машину начало нещадно трясти.

– Скоро приедем, – увидев, что я открыл глаза, успокоил шофёр. – Километров двадцать, не больше, осталось. Дремли пока, чего тебе, – вздохнул он о чём-то своём и снова умолк, неотрывно глядя на дорогу.

Я взглянул на часы. Было начало двенадцатого. «Значит, мы в пути уже больше двух часов». Посмотрел в боковое стекло. Теперь ветер крошевом снега зло, словно песком, швырялся с моей стороны. Кругом лишь степь, что была и час тому назад, когда я задремал. Заснеженные белые просторы и вплетающийся в монотонный, убаюкивающий шум мотора разбойничий посвист ветра. «Не дай бог в такую погоду остаться в степи одному». От одной только этой мысли меня пробрал озноб.

Миновав какую-то ещё не до конца рассыпавшуюся, кажется, совсем уж нежилую – если б не дымы из труб, неопрятным тёмным пятном притулившуюся у склона горушки деревеньку, издалека увидели ажурную мачту буровой, чем-то отдалённо напомнившую мне Эйфелеву башню. А когда подъехали поближе, я разглядел и синий балок. Из его полукруглой крыши метра на два вверх торчала ржавая железная труба. А из неё, коптя белёсое небо, валил, как из разогнавшегося паровоза, густой дым.

– Вот собаки! Солярку жгут. Лень им дровец сухих заготовить. Хотя откуда здесь в степи дрова, да ещё сухие. С собой разве что привезти, – подъезжая к самому балку и заглушив мотор, определил ситуацию водила.

Из вагончика на шум подъехавшей машины никто не вышел.

– Спят, что ли? – удивился шофёр, соскакивая с подножки кабины на землю и направляясь к балку. Я последовал за ним.

В полумраке вагончика на верхней полке среди засаленных ватных одеял обнаружилось некое шевеление.

– Есть кто живой?! – громко спросил шофёр. – Вставайте, солярку вам для дизеля привёз!

С верхней и нижней полки показались две головы. По торчащим во все стороны невымытым волосам было видно, что они давно не видели гребня.

– Ну, чё орёшь-то? Отдыхать людям мешаешь, – недовольно произнёс же свесивший с верхней полки ноги в дырявых носках щуплый мужичонка.

В вагончике было жарко, а запах в нём стоял настолько специфический, что меня в первые минуты чуть не стошнило. Угадывалось, что настоян он был на какой-то слежавшейся, с прелью уже, материи, солярке, развешенных на проволоке около трубы отнюдь не первой свежести портянках и рабочей одежде, давно, по-видимому, скисшем супце, водочном перегаре, табачном дыме и ещё на чем-то таком, для чего в моём словарном багаже слов не находилось...

Представив, что именно здесь мне предстоит жить, я почувствовал слабость в ногах. И мне тут же захотелось осесть прямо на грязный, давно не метённый пол, крепко обхватить голову руками – чтобы уже больше ничего не видеть и не слышать – и завывать, как воют бабы навзрыд от безысходного горя.

– Вот, пополнение вам привёз, – указал водитель на меня, окаменело стоявшего у двери. – Принимайте солярку по-быстрому. Мне ещё надо в дальнюю бригаду успеть да назад к вечеру вернуться.

В этот момент шофёр вдруг представился мне единственным спасителем. И если бы он не ехал дальше, а сразу возвращался в город, я уговорил бы его взять меня с собой, не оставлять здесь. Мне казалось, я клещом готов был вцепиться в рукав его телогрейки и не выпускать его до самого Иркутска...

С какой-то нежностью я вспомнил широкую мраморную лестницу Зоологического института, ведущую наверх в наши кабинеты, и улыбчивых научных сотрудников в белых халатах, встречающихся на ней и приветливо здоровающихся с тобой. Увы, теперь всё это было для меня недостижимо...

«Для чего и на что я всё это променял?! Ради чего – фактически, изменив судьбу – решился на такой шаг?! Ведь не исключено, что я никогда не стану писателем. Ничего же путного пока ещё мной не написано. Так, лишь намётки, заготовки чего-то неясного, неопределённого даже для самого себя. Зарисовки предчувствий или «Бред надежд», как я называл это нечто, просящееся на листы бумаги, а иногда и на случайные листки, когда воспоминания из глубин памяти настойчиво требовали выхода. Но ведь ни одного настоящего рассказа у меня ещё нет. Да, есть несколько удачных стихотворений, с десятков, не более. Однако удачными-то они представляются только мне да некоторым моим знакомым. Но ведь знакомые мои, приятели в большинстве своём не литераторы. В лучшем случае – биологи... На что я надеялся? На свою непреклонную волю, которой в глубине души всегда так гордился? Так нет её уже, видно, этой непреклонной воли! Она могла произрастать, как выяснилось не так давно, только в тепличных условиях... Зачем я собственными руками, своим глупым бездумным поступком сломал собственную жизнь?!» Я чувствовал, что близок к истерике. И все эти горькие, быстро отрезвляющие мысли о реальном положении дел с невероятной быстротой пробежали передо мной, не оставляя теперь даже слабого лучика надежды на что-то хорошее там, впереди.

«Только не раскисать. Не размазываться зелёной соплёй по стенке. Надо уметь держать удар. Надо переупрямить судьбу».

– Где бригадир? – вывел меня из ступора громкий, какой-то упругий голос шофёра.

– В город уехал – наряды сдавать за пробуренные скважины, – всё ещё сидя на верхней полке и беспечно болтая ногами, ответил верховой мужик, почти касаясь своей чёрной пяткой, видимой в дыре носка, лица сидящего ниже здоровяка, безучастно наблюдавшего за всем происходящим и время от времени всей пятернёй скребущего голову.

– А чё дрыхнете, не работаете? – уже как-то лениво, спросил шофёр.

– Дак бригаду надо пополнить! Недокомплект, – зычным голосом вдруг встрял в разговор здоровяк, неспешно вставая со своего рундука и в одних трусах и майке подходя к печке, бок которой был раскалён докрасна. Поставив на неё железный закопчённый чайник, продолжил: – Один от нас сбёг. Трудностей испугался. (Как я тогда завидовал этому неизвестному!) Вот бригадир и отправился в управление, чтобы заодно ещё и человека два-три добыть. Нас с мастером оставил – шурф копать, да забуриваться приказал.



– Ты, значит, мастер? – уточнил шофёр у сидящего на своём «насесте» мужика.

– Ну, я, – нехотя ответил худощавый, неожиданно легко спрыгнув с верхней полки.

На его впалой костлявой груди с сероватой кожей, в глубоком вырезе, видимо, большой для него и далеко не свежей майки виднелись наколотые синеватые купола собора Василия Блаженного во всей их витиеватой красе. А на предплечьях, когда он подошёл поближе, я успел разобрать две «классические» надписи для людей, которые не разминулись с зоной: «Нет в жизни счастья» и «Не забуду мать родную».

Первую надпись я готов был сделать у себя немедленно, причём на самом видном месте, например, на лбу. Подобно тому, как каторжанам ставили на нём клеймо.

– Костя! – неожиданно игриво выбросил он в мою сторону жилистую, судя по всему, сильную руку, пальцы которой были все в наколотых перстнях.

От неожиданности я непроизвольно отступил на полшага назад.

– Да не бойсь ты, мы интеллигенцию не обижаем, правда? – весело улыбнувшись почерневшими зубами, подмигнул он напарнику, не опуская руку.

– Игорь, – ответил я придя в себя и ощутил, как и предполагал, сильное и цепкое рукопожатие.

– Нам тут сорока на хвосте принесла – ты вроде как большим учёным был, – снова весело ухмыльнулся мастер. – Небось, тяжелее авторучки давненько ничего не держал? Мы тебя тоже сильно напрягать не станем. Сёдня шурф начнём долбить. Тебе, как особо грамотному, доверим наиболее тонкие и точные приборы: кувалдометр и ломперметр. Ими будешь работать, – весело рассмеялся он, сверкнув золотой фиксой. А здоровяк, одевающийся у рундука, отчего-то нахмурился.

– Ну, ладно, хватит лясы точить, – вдруг устрожился шофёр. – Давай кажи, мастер, куда соляру сливать. И парня без нужды не задирай, – добавил он.

– Ща, один момент, – мгновенно свернув улыбку, ответил Костя, возраст которого определить было сложно. Ему могло быть и тридцать, и пятьдесят. – Только вот, парадный клифт надёрну, – продолжал скоморошничать он теперь перед шофёром, набрасывая на плечи, прямо поверх майки, засаленную телогрейку и погружая ноги в просторные валенки, стоящие у печи.

– Меня Николаем Ивановичем кличут, – рокотнул от печки уже одетый здоровяк, снимая с неё закипевший чайник и на мгновение переводя взгляд на хлопнувшую дверь, за которой скрылись шофёр и мастер. – Чайку, супца горохового – не желаешь? – раздвигая на столе грязную посуду и ставя на него чайник, спросил он добродушно.

– Спасибо, я не голоден, – соврал я. – Мне бы какую-нибудь работу.

Я полагал в тот миг, что лишь работа – изнурительная, до полного изнеможения и отупения; до истребления в себе почти всех желаний, кроме поесть и поспать, способна заглушить во мне сосущую душу тоску по прошлой, – утраченной, возможно, навсегда теперь, – прекрасной жизни и отвращение к жизни нынешней.

– Наломаться ещё, успеешь, – рассудительно ответил Николай Иванович, которому, на первый взгляд, было не меньше пятидесяти. – Соляра теперь есть. После обеда начнём горбыль жечь – землю отогревать, а то она, как каменюга, твердющая. Аж звенит, когда ломом по ней вдаришь. Сердится, должно быть, что спать ей до весны мешаем. А без соляры горбыль, – объяснил он мне «тонкости технологического процесса», – не горит ни в какую, сырой. А как земелька маленько оттаёт – шурф копать начнём. У нас процесс бурения с водой идёт. Вот и нужна для неё ямина. Два на два, да метра полтора в глубину, чтобы в неё водовозки три воды можно было вылить. Так что наработаешься ещё до отрыжки. Садись лучше, ешь, – снова предложил он. – А на мастера внимания не обращай. Он мужик, конечно, кручёный, но, в общем-то, не вредный. Хотя поговорка о нём в СМУ такая ходит: «Вечно пьяный, вечно злой – сменный мастер буровой», – улыбнулся Николай Иванович и уже в раздумье продолжил: – И в чём-то эта побасёнка верна... Специалист он – неплохой. Дело своё знает. По малолетке

пырнул кого-то ножом. Ну и по тюрьмам потом закружил, ясно дело. Полжизни за забором да за колючей проволокой провёл. Озлобился на весь свет, будто судьба ему чего недодала. И особенно ещё потому, что девчонка та, из их посёлка, за которую он в драку влез, не дождалась его после первого небольшого срока, и за того, кого он пырнул, замуж вышла. И пока он срок «мотал» – двух ребятишек успела родить...

Николай Иванович говорил степенно, и как-то угадывалось, что за его плечами стоит недюжинный житейский опыт.

– Давай разболакайся да садись к столу, – снова попытался он подстегнуть меня к какому-либо действию, ставя на стол большую сковороду с жареной картошкой. Перекусить надо. Силы нам скоро понадобятся, – словно уговаривая самого себя, негромко произнёс он и, обернувшись ко мне, всё ещё стоящему у дверей, уже громче сказал: – Да, не журишь ты так, паря, – жизнь ведь не кончается сегодня! А как говорили древние и очень мудрые китайцы: «Если ты не потерял жизнь – ты ничего не потерял». А заробей, загрусти – курица обидит! – улыбнувшись открытой улыбкой, закончил он.

Снимая у вешалки возле входной двери телогрейку, ватные штаны и ощущая себя отчего-то в этом одеянии не то Чуком, не то Геком, собравшимся на Северный полюс, я вдруг почувствовал, что уже не так остро ощущаю запахи, вначале чуть было не отправившие меня в нокаут. «Да, быстро человек привыкает к плохому, – грустно подумал я. – Однако к хорошему он привыкает ещё быстрее», – припомнил я Питер.

На улице послышался шум отъезжающего бензовоза, и через мгновение в телогрейке нараспашку в балок с мороза пулей влетел Костя.

– Ну что, Иваныч, змеиный супчик готов? – довольно потирая руки, спросил он. – А где у нас вчерашие пирожки с гноем, – подмигнул он напарнику, спокойно хлебавшему какую-то баланду.

В этот момент я вновь почувствовал удушливый спазм подступающей к горлу тошноты и понял, что ничего съесть уже не смогу.

– Никак нам плохо? – обернулся ко мне Костя, наливая себе в довольно чистую эмалированную чашку супец, преющий на кирпичках возле боковины раскалённой печки. – Ах, какие мы нежные, – заговорил он с издёвкой и неожиданно крепко хлопнул меня по плечу. Судя по всему, мастер был неисправимый весельчак.

– Ну чего ты, Костя, к человеку вяжешься? Утомонись. Он в твоих бедах не виноват, – подал голос Николай Иваныч, споласкивая в тазу заляпанную алюминиевую кружку, чтобы налить себе чая. – Парень и так в непривычной для него обстановке. А тут ещё ты зудишь, задираешь его. Силы, что ли, некуда девать? Иди тогда вон землю долби без прогрева, шурф рой.

– Ничего, пусть привыкает. Знал чтобы, как трудовая копейка достаётся. Вот он у меня после обеда и пойдёт шурф долбить. Сразу небо с овчинку покажется, – не унимался Костя.

– Все будем рыть после оттайки грунта. По очереди, – вставил Николай Иванович.

– Вот и ройте вдвоём, «по очереди», – передразнил Костя. – А я – мастер. Моя задача – за технологическим процессом следить, чтобы он не нарушался. Я, если хотите знать, – он какое-то время подыскивал слова, – человек ненавязчивой идеи, вот! – веско закончил он.

– Ох, доизгаляешься ты над людьми, Костик, – снова рокотнул от уже почти чисто прибранного стола, расположенного под сплошным, немаленьким, окошком, Николай Иванович. – Вот приедет Миша, он тебе перцу-то задаст!

– Иваныч, а чё у нас портвейна от вчерашнего совсем ни грамма, что ли, не осталось? – озабоченно спросил как-то сразу притихший мастер, перебирая пустые бутылки, стоящие и лежащие на полу у рундука.

– С тобой разве останется? – вздохнул здоровяк. – Я хотел парочку на похмел припрятать. Какой там! Пока всё не допил – не успокоился. Вон, водички холодной из бака попей, – посоветовал он Косте, продолжавшему шарить теперь уже в рундуке. – Нет ничего, не ищи.

– Главное дело, съездить в Хазаргай-то теперь не на чем. На МАЗе вышку уже подняли, – вслух размышлял Костя, ставший теперь совсем не задиристым, почти ручным. – Может, вышку опустим, да сгоняем? – неуверенно произнёс он, обращаясь к Николаю.

– Я те сгоняю! Миша что нам велел? До его приезда чтобы забуриться. Да метров десять-двенадцать хотя бы под «кондуктора» пройти. Тем более что породы здесь не сложные – мергеля. А у нас не то что бурение – даже шурф ещё не готов. Один плюс – вышку на место поставили. Хватит, погуляли, будя. За работу пора браться. Я пойду горбыль подпалю, а вы тут ешьте пока. Земля-то быстро не отойдёт. Дай бог к ночи яму начать рыть. Ты, Игорь, располагайся, обустраивайся. Можешь вторую верхнюю полку занять – там теплее. А если этот ханурик начнёт приставать – в харю ему. Ты парень, я гляжу, не слабый.

– Может я, пока вы горбыль жжёте, в вагончике приберусь да посуду перемою. Могу и сварить чего-нибудь на ужин.

– Вот это дело! – довольно крикнул Николай Иванович, надевая у входной двери телогрейку. – Приберись, точно. А то такой срач после вчерашнего. Ящик портвейна, почитай, выжрали, – произнёс он с неким изумлением.

Николай Иванович ушёл. Костя забрался к себе на верхотуру и затих, а я начал генеральную уборку, для начала перемыв горячей водой из большого чайника всю имеющуюся посуду.

Часа через полтора в вагончике стало даже как будто уютно.

Раза два, пока я прибирался, приходил погреться Николай Иванович. Одобрительно глядя на мои действия, он садился на табуретку возле двери, не подходя к печке, стоявшей посередине вагончика, «чтобы не марать». От него пахло соляжкой, дымом и как будто бы пронзительным февральским ветром. Не знаю почему, но мне это было приятно, точно человек пришёл от таёжного костра.

– Вы теперь ещё тапочки заведите, – свесив голову со своей полки и глядя на подметённый пол, миролюбиво проговорил Костя.

– И заведём, – улыбнувшись, ответил Николай и, обратившись ко мне, сказал: – Закончишь здесь – можешь меня сменить. Нам, главное дело, верхнюю, самую промёрзшую корку прогреть...

Горбыль, даже облитый из ведра соляжкой, горел неохотно. Огонь, словно слизывая языками пламени приятную ему солягу, скручивал доски, будто отжимая из них влагу, которая, злобно шипя, поглощалась ленивым костром. В грустное, серое, уже предвечернее небо поднимались тёмные, беспросветные, как мои нынешние мысли, клубы дыма...

В конце концов огонь одолевал воду и начинал резвиться веселее, а подложенные в костёр новые доски занимались быстрее. Отчего-то эти наблюдения – победа упрямой стихии огня над холодной, всё замораживающей стихией воды – вселили надежду и в меня. «Ничего, всё перетрётся, перемелется, переплавится... Не всё ещё потеряно... – размышлял я, глядя на завораживающий весёлый огонь огромного, будто в пионерском лагере в конце лета, когда всем грустно расставаться и друг с другом, и с кончающимся летом, костра. – Из всего этого всё равно выкуется, вызреет что-то хорошее, цельное...»

Уже в темноте мы с Николаем Ивановичем разгребли горячую золу прогоревших досок и при холодном свете звёзд и жёлтом, из окна вагончика, попробовали копать землю, которая после многочисленных предварительных ударов по ней ломом или киркой подавалась лишь на четверть штыковой лопаты.

Вырыв что-то вроде неглубокого, но весьма объёмного «корыта», с чёрными от сажи лицами, уставшие, мы снова заложили в это углубление горбыль, облили его соляркой и подожгли.

– Всю ночь придётся жечь, – неровно дыша, проговорил Николай Иванович. – Гляди, как земля нынче промёрзла. Прямо какой-то непробиваемый панцирь на себя надела. Ничё, завтра полегше пойдёт, – успокоил он меня. Нам, главное дело, промёрзший слой убрать...

Сняв верхонку, он стёр с лица капли пота, катящегося из под шапки, чем ещё больше размазал по лицу сажу.

«Я, конечно, тоже выгляжу не лучше, – подумал я про себя. – Видели бы меня сейчас знакомые аспирантки. Наверняка бы не узнали. Или сделали вид, что не знают. Ну что же, всё правильно. Как говорят педантичные немцы: “Jedem das seine” – “Каждому своё”. Ведь, кажется, именно это было начертано на вратах Бухенвальда».

– Ладно, пойдём ужинать. Костя кашку обещал сварганить, – вывел меня из раздумий голос Николая Ивановича.

Всё тело у меня гудело, как высоковольтные провода на ветру. Звенело комариным гудом отчего-то и в голове. И сейчас я готов был съесть глубокую чашку даже и «змеиного супчика».

«Стремительно деградируешь, Ветров, – мысленно пожурил я себя и, едва переставляя ноги в ставших вдруг такими тяжелыми валенках с калошами, потащился к вагончику, на стене которого в отсветах пляшущего за моей спиной огня проявилась огромная, неуклюжая, такая непохожая на меня прежнего, тень. – А, может быть, это уже не только моя тень, но и моя сущность», – невесело подумал я, припомнив снова Питер и знакомых аспиранток, и начинающих актрис, с которыми меня знакомила Елена, заядлая театралка, завсегдатай премьер, особенно в любимом ею БДТ. Но даже заплакать в этот миг от осознания того, что что-то очень светлое и теперь такое нереально далёкое, может быть, навсегда утрачено, сил у меня уже не было.

\* \* \*

В бригаде Мельника – очень хорошей, кстати, бригаде, костяк которой был постоянным, – я проработал чуть меньше года обычным буровиком. То есть человеком, выполняющим все подручные – самые трудные и грязные – работы. И за это время действительно «особо точные приборы – ломперметр и кувалдометр», лом и кувалда, стали моими привычными инструментами.

Обычно (и это, в первую очередь, благодаря бригадиру – спокойному, отлично знающему своё дело человеку) мы успевали пробурить две-три не очень глубокие, метров по пять-десять-семьдесят, скважины в месяц. И заработки у нас поэтому были одни из самых высоких в управлении. Я, например, мог позволить себе на какую-нибудь загородную пирушку с прежними друзьями купить ящик шампанского и ящик хорошего вина. Но всё это, в том числе и появившийся не без помощи родителей автомобиль, как-то не очень радовало меня. Мне всё время казалось, что я утратил что-то гораздо большее, чем обрёл. Да и друзья мои, как будто они были теперь из какой-то полузабытой, прошлой, давней жизни, – я чувствовал это, – всё больше отдалялись от меня. А может быть, и я от них. Что в принципе одно и то же. Скорее всего, это происходило оттого, что общих интересов у нас оставалось всё меньше. Ведь так различна теперь была наша жизнь. К тому же я бывал в постоянных разъездах, колеся по необъятной нашей области, на территории которой спокойно могли уместиться несколько европейских, причём немаленьких, государств. И перемещаться по этим «государствам» – в большинстве своём неказистым, – со всем бутором, буровой установкой, вагончиком, водовозкой, да и работать тоже, приятнее всего было всё же летом, чем зимой, когда морозняка, кажется, готов достать тебя повсюду. А если ещё скважина бурится в лютые морозы не в какой-нибудь деревеньке, а в степи, на кошаре, да работа идёт в две смены: и днём и ночью, то и подавно

загрустишь, пригорюнишься, затоскуешь о неудавшейся своей судьбе. И никакие деньги тут твою печаль заглушить не могут.

Бурить скважины в деревне было для бригады всегда предпочтительнее да и проще. Тут тебе и с продуктами, и с размещением помогут. В доме, каком-никаком, поселят: с кроватями, с простынями чистыми. Это тебе не в вагончике, где только четыре стационарных спальных места на восемь человек, если бригада полностью укомплектована. И где одни спят днём, а другие ночью.

Обычно мясо, молоко, мёд «Заказчик» выдавал нам в долг, под будущую скважину. А иногда бывало даже, что по распоряжению директора колхоза, совхоза ли, и кормили отлично: с первым, вторым и третьим, по три раза в день, причём бесплатно, если в деревне была столовая. И мы тогда освобождались от поочерёдной готовки. А если скважина была удачной – с хорошим наполнением, то давали, уже в качестве подарка, и домой: тот же мёд, мясо, сметану, творог. В общем, всё то, чем не оскудела ещё деревня.

После одной или двух, если работы шли быстро, без помех, пробуренных скважин – дня три отдыха дома и – переезд на новое место. И снова всё по кругу. Выбор по карте водоносных горизонтов места бурения; рытьё шурфа; завоз обсадных – большого диаметра, и водоподъёмных – малого диаметра труб; подбор «шарожек», то есть самих буровых наконечников, в зависимости от пород – твердых или мягких. Иногда, если породы трудные, то и с алмазным вкраплением.

И хорошо, когда весь этот отлаженный механизм идёт без сбоев. Тогда неглубокую скважину можно и дня за три-четыре со всем обустройством сработать. Однако бывало, что из-за какой-нибудь случайности или аварии всё словно рушится вдруг, в одночасье. То «шарожку» породами затрёт, и дизелю не хватает мощности провернуть весь снаряд. То сам дизель ни с того ни с сего заглохнет. То по чьему-то недосмотру произойдет обрыв части снаряда, и как-то надо измудриться его теперь из скважины достать. Тогда уж на буровой для всех аврал, в независимости от смен. А если подобное случится ночью, в степи, когда мороз жмёт градусов за сорок, да ещё с пронизывающим ветром, и помощи ждать неоткуда, и надежда только на собственные силы... Одним словом, нелегка, ох, как порой нелегка для простого человека «трудовая копейка».

\* \* \*

Промозглой серой осенью, когда нудный, сеющий всё время дождик нередко пробрасывает быстрым колючим снегом, бурили в маленьком бурятском улусе Зум-Булуг, в котором, тем не менее, была почта и хороший книжный магазин, где я покупал редкие книги и с удовольствием потом читал их всякую свободную минуту. Скважина, по проектной документации, была в этом месте глубокая. Больше двухсот метров. Породы – тоже не простые, поэтому быстрого завершения работ не ожидалось. Минимум – полмесяца, а то и дольше провозимся. Да еще бригадир, как на грех, застрял в управлении с отчётом за третий квартал. А без него многие вопросы не решались. А если и решались, то не так быстро, как хотелось бы, как было при нём.

Костя, несмотря на то что большую часть времени проводил на буровой, совсем осунувшись и забросив даже свои ночные визиты к очередной «кралечке», заводимой им почти в каждой деревне, «загипнотизированной» его ласковой фразой: «Всё будет хорошо, и мы поженемся...», больше пяти метров за смену, то есть за двенадцать часов работы, пройти не мог. А тут ещё как назло «сдох» дизель буровой, и мастер решил отправиться в управление за запчастями. Но скорее всего, по моим размышлениям, за бригадиром, при котором работы отчего-то всегда шли более спокойно и ритмично, а возникавшие проблемы устранялись быстро.

– Из улуса – никуда! – напутствовал он нас перед отъездом, обращаясь в основном к Николаю Ивановичу, как самому опытному и старшему по возрасту. – Я на водовозке, с Серёгой, сгоняю махом туда и обратно. Через день, крайний срок – через два, вернусь. Привезу новые долотья с алмазами и запчасти для дизеля. Может, и Миша уже будет свободен. Вместе тогда прикатим. Хотя и при нём мы, я чувствую, весь октябрь с этой долбаной скважиной здесь проторчим...

Я был рад вынужденному безделью, поскольку мог вволю читать, трижды в день только прогуливаясь в малюсенькую деревенскую столовую с четырьмя столами на шестнадцать посадочных мест, где нас кормили, по распоряжению директора совхоза, очень хорошо и, в основном, вкуснейшими, сочными бурятскими позами. Иногда, лёжа на заправленной серым суконным одеялом постели, я прерывал чтение и смотрел в окно: на жёлтый простор степи, на мелко сеющий дождь, шуршащий за стенами дома, стоящего на краю улуса. Слушал мерное гудение печи от сгорающих в ней сухих поленьев, заготовленных бывшими хозяевами этого добротного жилья, в поисках лучшей доли покинувших эти пустынные и бедные края, оставив в доме почти всё, как было при них: кровати, шифоньер, стол, стулья, табуретки и даже старинный комод с пустыми выдвижными ящиками. Приятно было и то, что Николай Иванович, с двумя новыми членами бригады, не пристаёт больше ко мне с предложением «сыграть в дурачка пара на пару, а не переводить попусту время, портя глаза, за чтением книг, от которых практической пользы никакой», а тихонько разговаривают о чём-то между собой за дощатой, крашенной голубой краской перегородкой, в кухне, попивая из алюминиевых кружек портвейн и закусывая чёрным хлебом с килькой в томатном соусе.

Я попеременно читал две новые книжки: «Подорожник» Николая Рубцова и «Во сне ты горько плакал» Юрия Казакова. И был в восторге от них. От грустной искренности стихов Рубцова и от изысканно прозрачной, проникновенной прозы Казакова. После чтения я какое-то время пребывал в состоянии некой элегической, светлой печали. В глубине души мечтая об искренней, чистой любви и о том, что, может быть, и мне когда-нибудь удастся написать о пережитом так же хорошо.

– Игорь, к тебе, – показался в дверном проёме, почти полностью заслонив его, Николай Иванович, загадочно чему-то улыбающийся.

– Кто? – не без усилия возвращаясь к действительности от приятных мечтаний, спросил я, положив книгу на подоконник над кроватью, вставая с постели.

– Девушка, – ещё шире разулыбался Николай Иванович, уловив моё недоумение и пропуская в комнату местную почтальоншу.

– Ветров? – для порядка осведомилась она, желая придать себе, при малом росте и тщедушности телосложения, больше значимости.

– Да.

– Вам телеграмма. Распишитесь, вот здесь – в получении.

– Разве у вас на почте есть телеграф, милая фея? – изумился я, заметив, что своим комментарием окончательно смутил бедную девушку, которой на вид было лет шестнадцать, не более.

– Нет, – серьёзно пояснила она. – Нам их из райцентра привозят, с молоковозом, который от нас каждый день молочную продукцию забирает. Вот, возьмите, – протянула она свёрнутый вдвое серый листок бумаги.

Телеграмма была следующего содержания: «Ветрову И.В. срочно явиться управление. Задумов».

Задумов был начальником нашего СМУ «Водстрой».

«И чего я ему понадобился, да ещё срочно?» – размышлял я, добираясь на попутных машинах до города и прибыв в управление только к концу рабочего дня.

В кабинете начальника застал и нашего бригадира.

– Молодец! Оперативно отреагировал на телеграмму, – похвалил начальник. – Проходи, садись, – царственным жестом указал он на два ряда стульев, стоящих вдоль длинного стола, торцом примыкающего к его обширному рабочему столу. Мы тут с Михаилом Сергеевичем как раз обсуждаем, кем тебя в бригаде заменить... Ты парень грамотный, с высшим образованием. Весь буровой процесс, по словам бригадира, освоил. Одним словом, расти тебе надо, Сергей.

– Игорь, – поправил я.

– Так вот, – кажется, совсем не обратив внимания на мою поправку, продолжил Задумов: – Решили мы отправить тебя подучиться по нашей специальности. Поедешь в город Батайск. Это рядом с Ростовом-на Дону, только на левом берегу реки. Пройдёшь там необходимый курс, сдашь, как положено, квалификационные экзамены, получишь, если всё будет хорошо, – каким-то своим мыслям улыбнулся он, – удостоверение мастера. Расти тебе надо, – повторился он и на мгновение задумался, прервав торжественный ход своей речи, – в смысле карьерного строительства, – закончил он свой блистательный монолог. И, совсем уже радостно, поражаясь, по-видимому, собственному благодушию, добавил: – А там, глядишь, из обычных мастеров станешь бригадиром или мастером участка. А со временем, – веско подытожил он, хмелея от собственной дерзости и великодушия, – может быть, и меня на посту сменишь. – И, явно не веря своим словам, весело, но скромно хохотнул. – Короче, Юрий (я не стал его вторично поправлять. Большой начальник, человек занятой – столько всяких дел. Где ему помнить, как зовут какого-то простого работягу, пусть даже из лучшей бригады управления), к пятнадцатому октября ты должен быть в Батайске. Иди в бухгалтерию – там тебе выпишут необходимые документы. В кассе получишь расчёт, аванс и – вперёд к своему индивидуальному светлому будущему. Мастер участка расскажет что к чему, как и куда. Ну вот, один вопрос порешали, – удовлетворённо потёр он руки и, повернувшись к Мельнику, заговорил уже с ним, не дав нам с бригадиром перекинуться и парой фраз.

В своём кабинетике под лестницей, ведущей на второй этаж управления, где обычно толклись бригадиры Усть-Ордынского участка, Судаков оказался один.

– Значит, покидаешь нас, – приветствовал он меня, приподнимаясь из-за стола и указывая на стул, стоящий напротив. – Читал я давеча приказ, читал. Ну что ж, всё правильно, расти тебе надо, Игорёк. Чё на одном месте-то топтаться.

«И чего они все заладили: “Расти тебе надо”, будто я лилипут какой-то», – отчего-то раздражённо подумал я, усаживаясь на стул.

В числе прочего мастер участка поведал, что со всего управления на учёбу направляют только меня одного. Что там, где мне предстоит учиться, централизованно готовят буровых мастеров со всей страны. И что по окончании необходимого полугодового курса я, скорее всего, буду переведён на Тулунский участок, так сказать, для кадрового его укрепления. Ибо там, невесело заметил Судаков, «полный разброд и шатание». Бригадиров хороших – раз-два и обчёлся, мастеров нормальных, не запойных, тоже мало. В бригадах вообще бич на биче сидит и бомжом погоняет. Контингент для работ набираем откуда придётся. Любого берём, можно сказать, с распростёртыми объятиями, особенно зимой. И всё равно почти во всех бригадах участка – недокомплект. Работа, сам ведь знаешь, небось прочувствовал, каторжная. А если ещё и нужное количество плановых метров не выдавать, то и зарплата – не ахти какая... Вернёшься из Батайска, мастером участка у тебя Галемба Василий Исаевич будет. Он тамошний, тулунский. В управлении поэтому редко бывает, далеко... К тому же воровайка, по-моему, редкостный. Всё в дом прёт, что плохо лежит. Впрочем, что не плохо – тоже тащит. И цемент, и трубы обсадные... Так что, если не посадят до твоего возвращения, будет твоим непосредственным начальником. Ну, прощай, что ли, – протянул он мне свою сухую мозолистую руку.

– Лучше, до свидания, – проговорил я в ответ на его крепкое рукопожатие.

– Как скажешь – пусть так и будет, – он встал и проводил меня до двери кабинета.

\* \* \*

И вот, вновь осенью, правда, не сырой и серой, как моя последняя осень в Питере, два года назад, а сухой, солнечной, прозрачной, во всём своём великолепном разноцветье, одним словом, такой, какой она ещё нередко бывает в наших неюжных широтах в сентябре, я должен был – уже в который раз после окончания полугодовых курсов в Батайске – отправляться за четыреста километров в Тулун. Название городка я переименовал для себя, чтобы не так тоскливо было при мысли о нём, на французский манер. И даже мысленно произносил вместо Тулун – Тулон. Ощущая какое-то необъяснимое, с грустинкою, очарование мечты. Увы, несбыточной. И совершенно несовместимой с реалиями моей тогдашней жизни.

Отправляться я должен был в свою «пьяную бригаду», где, по традиционным наставлениям на общей планёрке по понедельникам начальника управления, должен был, впрочем, как и все остальные, «организовывать бесперебойный процесс бурения и выдачи “на гора” плановых метров». Непосаженный же до сих пор в тюрьму Галемба, здоровенный мужик, с вялыми брылями щёк и выпирающим вперёд животом, некой своей заострённостью больше напоминающий стенобитное орудие, придерживался того же мнения, утверждая, что работу в бригадах должны налаживать мастера и бригадиры. Ему же и без того хватает дел по обеспечению бригад всем необходимым.

Для своевременного «выбивания» и «добывания» этого самого всего необходимого для бурового процесса мастер участка весьма успешно пользовался своим «стенобитным орудием», вальяжно открывая им двери кабинетов не крупных начальников районного масштаба. Крупных же начальников Василий Исаевич побаивался и в обращении с ними был трепетен. Стоит также сказать, что безудержный напор мастера участка обычно возникал тогда, когда предполагалась в том числе и личная выгода. Ибо немалая часть того, что выбивалось Галембой, оседала потом на его личном, добротном и обширном подворье, обнесённом высоким глухим забором («от завистливых глаз») из струганых досок. Что казалось подавляющему большинству жителей сего провинциального городка невиданной роскошью и расточительством. «Такие доски и – на забор!» И если кому-то ненароком доводилось подойти к усадьбе близко, из-за забора начинал раздаваться злобный, хриплый, надрывный лай цепных и, судя по всему, злобных псов.

Когда я обращался к Василию Исаевичу, изредка появляющемуся на стационаре, организованном им на окраине города, с каким-нибудь вопросом, он обычно отвечал:

– Твои проблемы – ты и решай...

Стационар наш состоял из голубого вагончика на восемь спальных мест – по четыре, в два яруса, с двух его сторон, с крохотной кухонькой посередине, разделяющей «спальные отделения». Умывальник и удобства, естественно, на улице. Довольно обширный, заросший бурьяном пустырь, на котором располагался вагончик, как и усадьба Галембы, был обнесён сплошным забором, только из горбыля. Судя по всему, у Василия Исаевича была страсть к высоким «непроходимым» заборам. В одном месте этого сооружения, правда, можно было, отодвинув доску, держащуюся на единственном верхнем гвозде, выйти к заболоченному берегу небольшой, неспешно журчащей, плавной речушки, за которой открывался прекрасный раздольный вид с далёкими предгорьями, теряющимися в неясной дымке.

Я всегда уезжал в бригаду с неохотой. Однако на сей раз в моей поездке в Тулун был всё же один плюс. Туда, через день после моего отъезда, должна была на свадьбу к своей однокурснице приехать и Маргуша (Рита, Маргарита, Марго – в зависимости от моего и её настроения). И мы договорились встретиться у «дворца бракосочетаний», точнее, у здания городской администрации, где будет проходить регистрация брака, поскольку дворцов в Тулуне не бывало и в помине. Городок был, в основном, деревянный, одноэтажный и весьма унылый, словно пропы-



лѐнный насквозь ветрами минувших веков. И приезжая туда, у меня возникало единственное желание – как можно скорее его покинуть.

На стационаре я обнаружил, увы, уже привычную картину. То есть не застал бригадира и ещё одного члена бригады, прикомандированного к нам примерно месяц назад. Трое других архаровцев находились в бесчувственном состоянии, отдыхая с перепоя.

Надо сказать, что бригадир у нас был толковым, щеголеватым, тридцатилетним парнем, из местных. Однако обнаружить его дома я тоже не смог.

Жена, не очень опрятно одетая девушка лет двадцати, с детским выражением лица и маленьким, всё время орущим у неё на руках ребёнком, на мой вопрос: «Где Сергей?» – только горестно вздохнула, пожав плечами. А когда из другой комнаты к матери босиком по довольно грязному полу прошлёпала чумазая девчушка, цепко ухватившаяся за подол её халата и с любопытством уставившаяся на меня, женщина, звонко шлёпнув дочь по руке, пальцем которой та сосредоточенно ковыряла в носу, злобно, не скрывая раздражения, бросила сначала мне в лицо, а затем, когда я уже уходил, в спину:

– Сергей ваш наверняка у какой-нибудь сучки своей заночевал!.. У него же их пруд пруди, пол-Тулуна, не считая зазноб по деревням... Как же, первый парень на деревне! Пока, конечно, не напьётся как свинья...

Быстро произносимые ещё какие-то слова, словно пулемётная очередь, догоняли меня, пока я шёл от порога дома к калитке. И столько ненависти было в них, что казалось, это не они, а сердитый рой ос догоняет меня.

На последних словах, довольно точно характеризующих иные, к счастью, не частые, состояния бригадира, я осторожно закрыл перекошенную хлипкую калитку, держащуюся на единственном шарнире. И неказистый дом, и изгородь вокруг него явно не соответствовали достатку Сергея, ибо работал он, когда не пил, зверски. Но и пил он тоже не по-человечески, запоями, продолжавшимися иногда неделю, а то и более. И становился сразу худым, чёрным, с мешками под глазами и невыразимой тоской во взоре. Будто весь мир становился ему постыл от того, что чего-то недодал. Но больше всего в этом мире, это было видно и невооружённым глазом, он опостылел самому себе, от бесцельного, как ему казалось, своего существования. Жизни – ради зарабатывания денег. Частенько я наблюдал этот раздрай – между существом и существованием человека – и не только у сильно пьющих людей.

Обычно после очередного запоя, немного оклемавшись, бригадир начинал «пахать», как трактор, загоняя и себя, и бригаду, словно все мы на какое-то время становились марафонцами, из последних сил преодолевающими нелёгкую дистанцию.

Наряды о выполненных работах он поручал отвозить в управление мне. Сам же, на какое-то время возвращался в семью и принимался за домашние дела: чинил крышу дома, натягивал на теплицу новую полиэтиленовую плёнку или исправлял постоянно выламываемый в одном и том же месте – чтобы сократить путь к винному магазину, палисадник. Правда, хватало такой мирной жизни ненадолго. До полочки или аванса. Деньги, как всегда, привозил сам Галемба, производя расчет бригад на стационаре. После его ухода обычно и начиналось «братание» и «основное веселье», ради которого так жестоко вкалывали эти люди. Сопровождалось всё это «разбирашками» давнишних обид или пьяными клятвами в верности бригаде и бригадиру, разбитыми носами, соплями, слезами, блевотиной и жуткой грязью, в которой проистекали подобные пьянки.

Возвращаясь от бригадира, я решил к Галембе пока не заходить. Глядишь, Сергей и сам объявится на стационаре. Тем более что завтра я встречаюсь с Маргаритой, и, скорее всего, она пригласит меня с собою на свадьбу. «Имею право – отдохнуть!» – решил я. К тому же без бригадира, по технике безопасности (после Батайска я это знал точно), забуриваться всё равно

нельзя. Да и с кем забуриваться-то? Когда ещё орлы мои придут в себя, обретут более-менее человеческий облик, начнут помаленьку соображать?..

Немного походив по городу, посидев на берегу реки Ии, за автовокзалом, я вернулся на стационар уже во второй половине дня и застал там ту же картину. Все трое членов бригады продолжали беспробудно дрыхнуть прямо в одежде на своих полках. Двое довольно молодых, в одном отделении, а грузный, с размытой внешностью и неопределённым возрастом мужик – в другом. Причём храпел он нещадно и разнообразно: с каким-то клекотаньем, посвистом и всхлипыванием, поминутно облизывая сухим языком сухие же губы, прерывая на какой-то миг мугучие рулады.

Рядом с рундуком, на котором он почивал, на полу у изголовья, виднелось большое, расплывшееся, как коровий «блин», пятно уже немного подсохшей блевотины. Да и в суконные штаны, судя по всему, он тоже подпустил. Запах мочи, как нашатырный спирт, проридал аж до печёнок.

Я плотно закрыл дверь в отделение храпуна, мысленно удивляясь тому, как это можно в такую теплынь ходить в суконных штанах? Поразмыслив «Что делать?», решил для начала перемыть посуду с присохшими к ней остатками пищи. «Обогреватели, видно, с вечера гоняли нещадно – всё засохло, не отскребёшь. Надо накипятить воды. Заодно и чайку заварить да попить потом на крылечке».

Начав мыть посуду, я обнаруживал в эмалированных чашках фрагменты традиционной закуски: макароны и килька в томатном соусе. А судя по огромному количеству пустых бутылок, валяющихся повсюду, «квасила» бригада дня три подряд, не меньше. Набор горячительных напитков был также традиционным: портвейн «Три семёрки» и водка – любая, лишь бы в ней было сорок градусов. Соотношение тоже, похоже, не нарушало общепринятых обычаев «рыцарских пиров» – два к одному. То есть две бутылки портвейна на бутылку водки.

Оставшейся после мытья посуды горячей водой вымыл пол в кухне, где кроме электрообогревателя стояла ещё газовая плита на две конфорки и небольшой столик с четырьмя табуретками. В оцинкованном ведре, в котором грел воду, оставалось ещё с полведра тёплой воды. Подумав, вымыл пол в том отделении, где мне предстояло спать, выбросив пустые бутылки в большой металлический сварной четырёхгранный мусорный контейнер, стоящий за вагончиком и плотно закрывающийся тяжёлой крышкой. А поразмыслив ещё немного, благо что в вагончике имелась корабельная, для мытья палубы, неизвестно как сюда попавшая швабра, преодолевая отвращение, вымыл пол и в том отделении, где мне спать не предполагалось. Открыв настежь все три двери: входную, расположенную посередине вагончика, к которой подходило высокое крыльцо и две «спальные», выходящие в малюсенький тамбур перед кухней, отделяемой от него только дверным проёмом, – и как следует проветрив помещение, почувствовал, что голоден. С утра ничего не ел, а время близилось к вечеру. Так что идиллическое чаепитие на крылечке, с любованием закатом, придётся заменить полноценным ужином.

Я почистил и нажарил целую сковороду картошки, обнаруженной в ведре на полу кухни. Открыл банку сайры, купленную днём. Разрезал кружочками луковицу, также найденную в ведре с картошкой. Заварил покрепче чай и, сидя на чистом, с прогретыми за день досками, крыльце, с удовольствием поел, с грустью глядя на вечернюю зарю, малиновым цветом сгорающую там, вдалеке, за речкой, у неведомых мне таинственных предгорий, припомнив вдруг есенинское: «О, верю, верю – счастье есть! Ещё и солнце не погасло. Заря, молитвенником красным, пророчит нам благую весть»... «Да, вся разница здесь только в том, что Есенин видел зарю, то есть начало чего-то. А я вижу закат...» – посетила меня не очень-то весёлая мысль.

Рано утром разбудил назойливый шорох.

В полумраке вагончика при тусклом свете, сочащемся из небольшого квадратного окна в торце балка, я со своей верхней полки разглядел стоящего на коленях парня, копающегося в рундуке. Он тщательно перебирал всевозможный хлам, хранящийся там, безуспешно разыс-

кивая что-то. Более того, я сразу догадался, что именно он ищет, из угла в угол передвигая и перерывая содержимое объёмного рундука: рабочую одежду, кирзовые и резиновые сапоги, верхонки, кое-какие инструменты...

Мою догадку он тут же и подтвердил. Переместившись по полу всё так же на четвереньках ко второму рундуку, он стал расталкивать спящего на нём напарника.

– Кеха, слышь, просыпайся! Ты не помнишь, куда мы бутылку портвейна на похмел заныкали? В твой или мой рундук? Давай, слезай! – уже нетерпеливо толкал он напарника.

Через какое-то время они уже оба шарили во втором рундуке.

Ничего не найдя и там, подались во вторую половину балка, ненадолго тормознув в кухне, где, я понял это по звяканью кружки о край ведра, они пили воду, принесённую мной вчера из колодца и поставленную на табурет под таким же квадратным, как в спальнях отделениях, окном.

«Пошли тормозить третьего, – понял я. – Поспать, похоже, больше не удастся». Взглянул на часы, едва разглядев маленькую часовую стрелку, показывающую седьмой час. «Ещё хотя бы часок подремать, – потягиваясь в своём спальнике с новым, привезённым из города чистым вкладышем, подумал я. – Тем более что они меня, похоже, не заметили».

В вагончике было свежо, и я, укрывшись с головой, почувствовал, что стремительно погружаюсь в сладкий сон. К тому же на второй половине после непродолжительной возни наступило затишье. «Значит, всё-таки что-то нашли», – понял я и заснул окончательно.

Вторично разбудил меня истошный бабий визг, доносящийся из другой половины вагончика.

Я машинально взглянул на часы. Было пятнадцать минут девятого. «Выходит, часа полтора, как минимум, я всё-таки поспал...» Ещё немного полежав, я вновь услышал противный визг. Встал, спрятал чистый вкладыш от спальника в свою спортивную сумку, надел футболку, штаны, кроссовки, отчего-то с радостью ощущая свежесть нового чистого сентябрьского утра. Тихонечко вышел в тамбур и, так же тихо подойдя к открытой двери второй половины балка, увидел следующую картину.

На своём рундуке, в разорванной спереди надвое некогда белой майке, со свисающим над ремнём суконных штанов вялым пузиком, сидел храпун, зажимая рукой нос, из которого по немытым пальцам стекала струйка крови. Он негромко поскуливал тонким голоском, никак не соответствующим его комплекции. По тембру я понял, что визжал именно он. Над визгун могучей глыбой навис здоровяк Иннокентий. Рядом с ним стоял второй, кажется, Кирилл, который и разбудил меня сегодня в первый раз своим шорохом. Комплекцией он был помельче, но так же грозен, как его напарник. Два этих «Зевса-громовержца» явно пытались что-то получить от храпуна, имени которого я не знал, поскольку он влился в бригаду в моё отсутствие.

– Ну, что за разбирашки?! – произнёс я громко, стараясь говорить строго, но спокойно. Парни резко обернулись.

– О, мастер! – удивлённо воскликнул Иннокентий.

Кулак его был измазан кровью. И почему-то, глядя на него, я определил, что он, наверное, более чем на голову выше меня.

«Такого если бить, то первым. Резко, под дых. До челюсти можно и не дотянуться», – прикинул я на всякий случай. Может быть, ещё и потому, что больно уж грозным он казался.

– Немая сцена из комедии Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», я думаю, будет длиться не вечно, – снова повысил я голос. – Рассказывайте, что здесь происходит.

– Да вот этот хрен, – пылая праведным гневом (точно, Кирилл, вспомнил я), заговорил поджарый, кивнув на сидящего мужика, – крысятничать вздумал. Одну бутылку портвейна из наших двух, – мы все с вечера решили по бутылке на брата оставить на похмел. А он, – замахнулся Кирилл на мужика, сразу вжавшего голову в плечи, – и свою, и одну нашу ночью

выжрал. Хорошо ещё, что Кеня, – кивнул он в сторону здоровяка, – вспомнил, что мы два пузыря оставляли.

– Раз вспомнил, значит ещё не все мозги пропил», – подумал я, а вслух сказал.

– А где четвёртый?

– Да кто его знает, – заговорил уже Иннокентий. – С нами всё, чин по чину, сидел третьего дня, а потом куда-то сгинул. Может, и домой сбёг. Кто его знает.

– А бригадир где?

– Не ведаем, – снова ответил монументальный Кеха. – Галемба дня два, кажись, назад был, сказал, чтобы мы к двенадцатому в норму пришли и чтобы как огурцы с грядки были. Вот мы и хотели сёдня похмелиться и завязать с этим делом. А этот, – он свирепо посмотрел на сидящего страдальца, – бутылку спёр. Сегодня у нас двенадцатое?

– Тринадцатое, – ответил я. – Вчерашним днём живёшь, Иннокентий.

– Слышь, мастер. Не в службу, а в дружбу, дай на пузырь – трубы горят нестерпимо.

– Так вы же аванс неделю назад получили? – начал я уже привычную игру. – Где деньги-то? Столько пропить – это ж какое здоровье надо иметь!

– Здоровьем-то мы не обижены, – вдруг хохотнул сидящий на рундуке толстячок, заискивающе глядя на Иннокентия. – Глотки у нас лужёные, животы калёные, что наши водоносные трубы, – окончательно развеселился он, поднимаясь с рундука, и все трое весело заржали, будто он только что рассказал забавный анекдот.

После недолгих разговоров денег на три бутылки портвейна всё же пришлось дать, с уговором, что кроме этого «стратегического запаса» никаких дополнительных добавок не будет и с завтрашнего дня чтобы все как один приступили к работе.

– Я постараюсь найти бригадира и схожу к мастеру участка – уточню, где бурим...

– Да ладно, всё и так ясно! Чё лишний раз объяснять-то, – нетерпеливо встрял Иннокентий, не дав мне договорить. Полученные деньги явно «жгли» ему руку. – Завтра как штык все будем в строю! – заверил он. – Ты только бригадира найди. Он, скорее всего, у Дашки-давашки, – хохотнул Кеша, подмигнув Кириллу. – У той, что рядом с магазином живёт. От нас он к ней намылился позавчера... Кирюха, – обратился он к приятелю, – махом за бутылками! Одна нога здесь – другая там! – В голосе Иннокентия звучал мажор до блеска начищенных оркестровых труб. – Ой, погоди... – освободившейся от купюр рукой он пошарил в глубоком кармане мятых брюк и выскреб оттуда мелочь и хлебные крошки. Высыпав всё в ладонь Кирилла, строго взглянул на толстячка и тихо, но внятно проговорил: «А ты, Стёпа, чего жмёшься?» Тот молча, отогнув матрас, достал несколько засаленных рублей, также передав их Кириллу. – На закусь, – деловито пояснил Иннокентий. – Килечки там, папирос каких купишь, хлеба, пивка для рывка...

Кирилла из вагончика «выдуло», будто невесомую былинку сквозняком, словно он по ошибке надел не свои растоптанные кирзачи, а волшебные сапоги-скороходы.

Я вскипятил на плите воду, заварил чай. В шкафчике для посуды обнаружил пачку печенья, а в холодильнике полбанки засахаренной сгущёнки. Со всеми этими несметными богатствами позавтракал, с удовольствием попивая горячий крепкий чай, забеленный сгущёнкой, и хрустя вкусным рассыпчатым печеньем. Тем более что орлы мои, сидящие на крыльце с опущенными крыльями, уже как друзья по несчастью от еды наотрез отказались. Им хотелось сейчас только одного – поскорее выпить. И всё остальное, похоже, их не занимало. Курили по очереди единственную найденную где-то папироску, после одной-двух затяжек молча передавая окурки сидящему рядом.

После завтрака, сполоснув кружку, я побрился у осколка зеркала в кухне. Умыл лицо тёплой водой из чайника, надел синие джинсы, а на футболку – чёрного цвета, из тонкой шерсти – свитерок с открытым горлом. Ещё раз взглянув в зеркало, остался собою доволен, ибо оттуда на меня с весёлой улыбкой, скорее всего от предстоящей с Ритой встречи, смотрел светлого-

лосый, голубоглазый, с загоревшим лицом и шеей, молодой человек, уверенный в собственных силах.

– Ну, ладно, я пошёл, – сообщил печальным сидельцам, осторожно минуя их по краю крыльца. – Если где задержусь – не теряйте. В любом случае к ночи буду. Пока.

– Пока, – уже в спину мне эхом отозвались они.

Галембу дома застать не удалось. Его жена – дородная весёлая молодуха, с мягким хохлатским говором, объяснила: «Супруг в якую-то бригаду уехал. То ли в Куйтун, то ли – в Булюшку». Букву «г» она произносила нараспев, мягко и почти как букву «х».

– Та вы проходите. Чайку попейте, – радушно предложила она, стоя на крыльце добротного кирпичного дома, окинув взглядом который, я понял, что много, очень много стройматериалов, предназначенных для обустройства скважин, пошло на его строительство.

– Да нет, спасибо, я уже позавтракал, – поблагодарил я радушную хозяйку и в очередной раз с опаской покосился на громадного пса неясной породы, удерживаемого ею за широкий ошейник.

– Ну, Трезор! – замахнулась она свободной рукой на пса, злобно зарывавшего, когда я повернулся к нему спиной. – Ступайте с богом, не тронет. Я его держу, – успокоила она, когда я оглянулся.

«Хорошо бы...» – подумал я, не зная точно, к каким её словам это отношу: к первым или вторым.

По пути я зашёл к бригадиру и узнал, что он с утра был дома – «совершенно тверёзый» – и что отправился в гараж местного автопредприятия, где еще загодя договорился заварить лопнувшую в нескольких местах по старой сварке буровую вышку.

– Приду, сказал, на обед, – радостно проинформировала меня его ставшая вдруг такой красивой жена. – А после обеда, говорит, пойдём в магазин платье покупать... Мне и девочке, – уточнила она. – Тем более что завтра он уже намеревается уехать на буровую... Так что недели полторы его опять не увидим, – вздохнула она.

Расклад для меня был удачным. День, до самого вечера, свободный!..

К двенадцати часам я уже был у здания городской администрации. А буквально несколько минут спустя к небольшой площадке перед этим двухэтажным строением подкатило несколько легковых машин, украшенных цветными лентами...

Из первой – бежевой «Волги», с большими «золотыми» обручальными кольцами, на специальной стойке над крышей автомобиля, как кузнечик, выскочил жених – молоденький, рыжеватый, радостно улыбающийся парень, в черном костюме и белой рубаше с ярким галстуком. Следом за ним – в очень нарядном белом платье до пят, бережно поддерживаемая за руку будущим мужем, из салона степенно выгрузилась очень задумчивая невеста, смуглой кожей и блестящими (быть может, от лака) чёрными волосами напоминающая скорее испанку, чем кондовую сибирячку из глубинки.

Рядом с будущим мужем и женой я заметил появившуюся с другой стороны машины Маргариту и симпатичного высокого парня. У обоих через плечо, как свидетелей жениха и невесты, были перекинuty широкие алые ленты. Цвет одной контрастировал с темно-синим костюмом свидетеля, а другой – почти сливался с ярко-красным, открытым на плечах и груди платьем Марго, в котором она выглядела просто сногшибательно.

Обернувшись и заметив меня возле невысокого металлического барьера, отделяющего площадку от улицы, она весело помахала рукой, послав мне воздушный поцелуй, и тут же, рассеяно обернувшись к своему спутнику, весело рассмеялась, по-видимому, какой-то его меткой непринуждённой остроте. Не оборачиваясь больше, свидетели, со всех сторон теперь окружённые пёстрой толпой, двинулись вслед за женихом и невестой, слегка придерживающей свобод-

ной рукой широкий подол платья, по бетонным ступеням здания, постепенно исчезая за его широко распахнутыми двустворчатыми дверями.

То, что Маргарита даже не подошла ко мне, хотя бы ненадолго, ощутимо кольнуло моё самолюбие. Но, как ни странно, я попытался её поступок оправдать, а заодно и успокоить себя. «Просто ей сейчас не до меня и ни до чего вообще. После регистрации она наверняка подойдёт и, скорее всего, пригласит с собой. И ничего, что на мне нет костюма. Я здесь в командировке – всё объяснимо. Да и с Ритой мы ведь не просто знакомцы и даже не друзья. Практически, мы тоже жених и невеста. Правда, жениховство наше слегка подзатынулось. И в большей степени из-за меня. Может быть, именно это, то, что я никак не делаю ей предложения, и не устраивает её в наших отношениях...»

Успокоиться полностью, несмотря на логичность доводов, мне всё-таки не удалось. Не встраивалось в мою мысленную схему очень уж развесёлое Ритулино настроение.

Я остался у здания администрации один, чувствуя себя не то униженным, не то оскорблённым, а может быть, и тем и другим одновременно. Ну, прямо-таки повесть Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорблённые». Скоро я, пожалуй, как главный герой этого произведения, буду успокаивать себя тем, что если оскорбления никто не видел, значит его вроде бы и не было. Грустно улыбнувшись, я осознал, что на сей раз даже палочка-выручалочка – самоирония, спасавшая меня во многих, порою нестерпимых жизненных ситуациях, мне не помогает. По-прежнему чувствуя себя именно униженным и именно оскорблённым, подобно благополучному человеку, в одночасье оказавшемуся среди нищих, на паперти Божьего храма. Более того, ситуация усугублялась ещё и тем, что в данный момент «нищим» был я один. Без ответа на вопрос – чего бы, собственно говоря, я хотел выклянчить у Судьбы... Причём оскорблённым я оказался не кем-то посторонним, а девушкой, которую, казалось мне, любил и которая (по её неоднократным заверениям) любила меня.

«Ну да – только меня, когда я рядом с ней, а всех остальных – когда меня нет. Эх, Ритуля, Ритуля – мотылёк, летящий на весёлое миганье огонька...» Ни самоиронии, ни иронии в моих мыслях, похоже, уже не оставалось. Теперь в них чувствовалась только горечь и отрезвляющая правда жизни.

«Надо поскорее отсюда уйти. Чего я, в самом деле, дожидаясь тут?..» Однако слабый луч надежды на то, что я, возможно, слишком уж сгустил краски, мешал мне это сделать. И я по-прежнему продолжал пребывать в какой-то неопределённой нерешительности, так несвойственной моему характеру.

Через некоторое время высокие двери администрации резко распахнулись. И весёлая, громко гомонящая, улыбающаяся на ходу и перекидывающаяся шутками «стайка» людей, вслед за только что «испечёнными» новобрачными, «выбрызнула» из полумрака здания на улицу «цветным фонтаном»! Быстро заполнив широкое трёхскатное крыльцо, спускаясь к ожидающим их на заасфальтированной площадке, сбоку от здания администрации, автомобилям.

Я же, из какого-то дурацкого упрямства и обиды, продолжал стоять один, хотя и чувствовал, что меня от этих радостно возбуждённых людей отделяет теперь не только незатейливый металлический барьер, но и нечто большее. Впрочем, что именно, я и сам ещё не мог определить, отчётливо чувствуя лишь «безвоздушное пространство» вокруг себя, отчего мне было трудно дышать. Моё ощущение полнейшего одиночества усугублялось ещё и тем, что я был в чужом, таком неуютном для меня городе...

И вдруг, как язычок пламени от внезапного порыва ветра, от этой спаянной единством праздника группы отделилась Рита, направившаяся к ограждению, у которого я стоял. Она улыбалась, и все мои тёмные мысли, словно капля чёрной туши, попавшей в бочку с прозрачной водой, вмиг растворились без следа в её такой открытой улыбке, предназначенной только мне! И не беда, что мы были по разные стороны барьера...

– Привет! – громко сказала она. Однако, как это обычно бывало при наших встречах, не чмокнула меня в тщательно выбритую щеку.

– Привет, – ответил я не так громко, как она, и мы оба замолчали.

Рита нетерпеливо, будто израсходовав весь запас слов, предназначенных мне, обернулась и помахала свидетелю жениха, обеими руками зазывавшего её в машину. Дескать, одну минутку, я сейчас.

– Тебе пора.

– Да, – подтвердила она. – Ну, я побегу, – словно спрашивая разрешения, как-то неуверенно проговорила она.

– Конечно, беги, – постарался улыбнуться я, тем более что от машины хором в несколько голосов уже доносилось призывное: «Мар-га-ри-та! Мар-га-ри-та!».

– Когда вернёшься из командировки? – уже вполоборота ко мне спросила она.

– Недели через две. Иди – тебя ждут.

– Ну пока. Увидимся...

– Конечно.

Она пошла, вернее, почти побежала к разукрашенной машине новобрачных. Но вдруг резко остановилась на полпути и, обернувшись, крикнула: «У тебя всё в порядке?!»

– Да, – тоже возвысив голос, соврал я ей и непринуждённо помахал рукой.

Машины, загудев моторами, сорвались с места и, перекикиваясь резкими гудками, колонной устремились вниз по улице.

Я вновь остался один. Весёлый карнавал покинул это место.

Немного постояв и размышляя, куда бы направить свои стопы, я решил направить их в редакцию местной газеты «Сибирский уголёк». Она находилась на этой же центральной улице, имеющей несколько достопримечательностей. А именно: полуразрушенный и, судя по его останкам из красного кирпича, очень величественный в прошлом храм; добротное здание городской администрации, кажется, бывший купеческий особняк; и, чуть ниже администрации и храма со срезанными куполами, судя по всему, недавно построенный магазин «Виноводка». На этом достопримечательности данной стороны улицы заканчивались, и дальше шёл ряд почерневших от времени неказистых, одноэтажных деревянных домов, с запylёнными акациями в небольших палисадниках перед окнами, выходящими на улицу.

На другой стороне этой же недлинной улицы, носящей имя «вождя мирового пролетариата», в бревенчатом одноэтажном, крашенном голубой краской, каком-то очень вытянутом, и от этого похожем на таксу здании располагалась библиотека, соседствующая с редакцией местной городской газеты. Собственно, благодаря библиотеке, в которую я, бывая в Тулуне, заходил, я и узнал о существовании «Сибирского уголька». А рядом с этим длинным баракom, в самом конце улицы стояло, по-видимому, ранее очень помпезное, с двумя белыми колоннами, здание Дворца культуры «Горняк», ныне изрядно обветшавшее и потерявшее свой былой лоск. Оно было построено почти тридцать лет назад, в пятидесятых годах двадцатого века, и с тех пор ни разу не ремонтировалось, но по-прежнему, наряду с библиотекой и редакцией, являлось архитектурной достопримечательностью города.

Я вошёл в полутёмный длинный коридор редакции, освещённый одиноко висящей на проводе под потолком тусклой лампой и единственным окном в торце этой половины дома. Рядом с окном на табурете стоял вместительный – ведра на три – оцинкованный бак, с привязанной верёвочкой к его ручке зелёной эмалированной кружкой. Привыкнув к полумраку, можно было разглядеть немногочисленные двери кабинетов сотрудников сего печатного органа, призванного быть рупором и недреманым оком городской администрации.

Последовательно прочитав на всех четырёх дверях таблички, разъясняющие, кто есть кто, решил зайти в «Корреспондентскую».

Ею оказалась просторная светлая комната, в которой ощущался настрой кипучей деятельности вкупе с рабочим беспорядком, сразу же бросающимся в глаза. Бумаги лежали не только на столах, но и возле них. Отдельные листы бесхозно валялись на полу, видимо, ожидая веника уборщицы. Остывший стакан недопитого чая покоился на чьей-то рукописи... Одним словом, по всему чувствовалось, что здесь работают весёлые, неунывающие люди. Над каждым из четырёх располагавшихся в этом помещении столов висел какой-нибудь шуточный лозунг или рисунок. И всё это как-то сразу настраивало на мажорный лад! Казалось, что журналистам, работающим здесь, нравится их дело, и занимаются они им с удовольствием! И мне вдруг, оттого что я тут ощутил, стало так завидно и тоскливо одновременно, что я невольно громко вздохнул, обратив на себя внимание единственного находящегося в комнате человека, с трудом оторвавшегося от листа с текстом, который он читал, держа в вытянутых руках.

– Вам кого? – спросил он глухим голосом. И чувствовалось, что весь он ещё там, в том, о чём только что прочел. Очки у него съехали на кончик курного носа. Был он сухощав, с выющимися тёмными волосами, смуглой кожей и бурятской раскосинкой глаз. На вид ему было лет тридцать. Над его головой, на ватманском листе бумаги, прикреплённом к стене кнопками, висел дружеский шарж, точно отобразивший его характерные черты: широкие выпирающие скулы, азиатскую зауженность глаз, весёлую улыбку. Под шаржем крупным шрифтом было выведено:

Илюша Ленский – это он.  
Ты подготовил фельетон?!

Я вспомнил, что действительно неоднократно встречал в местной газете под каким-нибудь залихватским фельетоном это имя.

– Вы Илья Ленский? – вопросом на вопрос ответил я.

– Нет, я Александр Житов, – явно польщённый моей осведомлённостью о его творчестве, ответил он. – Ленский – мой псевдоним. Я им обычно под фельетонами подписываюсь. А это – ребята дурачатся, – кивнул он на стенку за спиной. И вдруг открыто, именно той улыбкой, которая была изображена на рисунке, улыбнулся, а затем, уже серьёзней, указав на мою чёрную папку под мышкой, в которой я обычно хранил наряды, а на сей раз – несколько рукописных и отпечатанных дома на машинке стихотворений, – добавил: – Материал принесли?

– Не знаю, – немного растерявшись отчего-то, ответил я.

– Ну, что у вас? Очерк, зарисовка, репортаж?

– Да я стихи хотел показать...

– Это не ко мне, – вновь улыбнулся Ленский-Житов и деловито добавил, видя, что ещё больше смутил меня: – Вам надо отдать их ответсекретарю. От входа последняя дверь налево, возле источника жизни, то бишь питьевого бака. Она у нас определяет, что куда и когда ставить. Удачи вам, ибо тётка она вредная.

Он вновь склонился над столом и бегло застучал по клавишам допотопной пишущей машинки, то и дело передвигая скрипучую каретку с отпечатанной на стандартном листе бумаги новой строкой. Возможно, будущего фельетона или передовицы, которую надо срочно ставить на первую полосу сдающегося номера.

Выйдя из корреспондентской, я направился в кабинет с табличкой «Ответственный секретарь Занудина Ольга Петровна».

В крохотной комнатке, где едва помещался большой двухтумбовый письменный стол, покрытый сверху зелёным сукном, заляпанным во многих местах тушью и чернилами, лицом к двери за ним сидела грузная дама в очках, с дымящейся в углу ярко накрашенных губ папирсой.



– Вы ко мне? – спросила она резко, оторвав взгляд от текста, который, по-видимому, правила, на очень небольшом свободном пространстве стола, отвоёванном у множества папок, громоздящихся на его поверхности.

– Да, – стараясь говорить непринуждённо, ответил я.

– Давайте, – протянула она руку, одновременно пыхнув в мою сторону дымом.

– Что?

– Ну, материал, как я понимаю, – нетерпеливо проговорила она.

– У меня стихи.

– Давайте, – снова проговорила она, но уже не так нетерпеливо и вновь протянула руку.

Я заметил, что ногти у неё на пальцах были подстрижены неровно, но, так же как и губы, ярко окрашены в красный цвет. Я достал из папки несколько листов и протянул даме.

– Всё?! – вновь пыхнула она папиросой, с неким интересом разглядывая меня. – А где же поэмы, баллады, романы в стихах?

– У меня есть ещё несколько, только они не отпечатаны.

– Давайте всё. Из большего всегда проще выбрать. Да, адрес или телефон оставьте, чтобы, в случае чего, с вами связаться и знать, куда выслать гонорар, если что-то появится в нашей газете. Ветров – это псевдоним? – взглянув на отпечатанный листок, спросила она.

– Нет, – ответил я, на весу дописывая на одном из листов, положенном на свою папку, с его обратной стороны, домашний адрес. Покончив с этим, я передал все листки, которых набралось, наверное, не больше десятка.

Ольга Петровна открыла одну из пухлых папок, от крышки которой, когда её потревожили, отделилось серое облачко пыли. Бегло написав сверху в углу на первом листке: «Игорь Ветров, г. Ангарск», она закрепила их скрепкой и положила сверху. Завязать тесёмки папки, из-за её перегруженности материалами, даме не удалось, и она, в прямом смысле слова, махнула на это рукой, одновременно разгоняя «пыль веков», вновь поднявшуюся над столом.

«Прямо-таки братская могила какая-то, – подумал я о папке, почувствовав вдруг всю безнадёгу моего предприятия. – Да, явно не заладился денёк», – подытожил я с лёгкой грустью, но уже без отчаянья.

– Вы из другого города, где очень много различных газет, к нам-то вас какие ветры занесли? – погасив в переполненной пепельнице папиросу, спросила Ольга Петровна, видимо, решив устроить себе небольшой перерыв.

Я объяснил, что являюсь буровым мастером в одной из бригад Тулунского района и что мы бурим скважины на воду везде, где в этом есть необходимость.

– Интересно, – хмыкнула она и, закулив новую папиросу, достала из папки мои стихи. Вставив под скрепку небольшой листок, она что-то написала на нём и положила мою стопку уже в другую, тоненькую и совсем не пыльную папку. По-видимому, ею она пользовалась гораздо чаще, чем предыдущей.

– А стихи пишете давно?

– Рифмую лет с четырнадцати, а собственно стихи пишу лет с двадцати.

– Понимаете, значит, разницу между рифмоплётством и стихами?

– Кажется, понимаю.

– Ну-ну... – неопределённо проговорила Ольга Петровна, и взгляд её сделался задумчивым и томным, как будто она вспомнила о чём-то очень давнем, хорошем, дорогом для неё, но, увы, навсегда утраченном. – Да вы присаживайтесь, – спохватилась она. – Вон с того стула в углу папки на пол уберите и садитесь. – А кто из поэтов в любимчиках ходит? – спросила она, когда я уселся на единственный, кроме её кресла, стул в этой крохотной комнатке. – Блок, Пушкин, Есенин?

– Лермонтов – если говорить о самом любимом.

Ольга Петровна о чём-то вновь задумалась. По-видимому, она что-то ещё хотела сказать, но, уронив взгляд на лежащие перед ней листы с текстом, вздохнула и спросила только: – У вас что-нибудь ещё?

– Нет, – как учёный попугай, выучивший одно лишь слово, опять ответил я.

– Тогда – довидзена, как говорят мои дальние предки, поляки. То есть до свидания, друг мой. Труба зовёт! Срочно, впрочем, как всегда, материал надо на первую полосу сдавать, а он до конца ещё не готов, – пояснила она, с тоскою глядя на лежащие перед нею бумаги.

– До свидания, – ответил я и, сделав пару шагов, закрыл дверь уже за собой.

Немного побродив по городу и почувствовав, что проголодался, зашёл в довольно чистенькую, уютную, небольшую столовую, где хорошо и недорого пообедал.

Возвращаться на стационар не хотелось, и я отправился на почту, решив вдруг написать письмо Елене Тучкиной, в туманный Петербург «из одного провинциального города...». Письмо, как мне представлялось, должно было быть написано в духе записей из «журнала» Григория Александровича Печорина: «И вот, теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегаю мыслию прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ждали тихие радости и спокойствие душевное?..»

Я люблю маленькие провинциальные почтовые отделения. Мне всегда так уютно и спокойно в них, среди этой сонной тишины, неспешного размеренного хода жизни, когда никуда не спешишь и когда можно, примостившись где-нибудь в укромном уголке, написать письмо другу, или любимой девушке, или домой. А может быть, даже – о чудо! – и получить откуда-то весточку в небольшом овальном оконце: «До востребования», почти не веря в это, не ожидая этой нечаянной радости.

Я пробыл на почте минут сорок. И, отправив письмо, часа два ещё потом просидел на берегу реки, наслаждаясь журчанием воды и ласковым послеобеденным прощальным солнцем, согревающим этот уходящий осенний светлый день. Время от времени с близкого к реке автовокзала из громкоговорителя доносились объявления об отправлении местных и междугородных автобусов... И так вдруг нестерпимо захотелось мне уехать куда-нибудь далеко-далеко... А может быть, услышать объявление: «Граждане пассажиры, через пять минут отправляется автобус по маршруту: «Тулун – Санкт-Петербург», просим отъезжающих занять свои места». И как было бы здорово, если бы в нём нашлось местечко для меня, да ещё у окошка... И ехать бы и ехать по этому маршруту, все те тысячи километров, разделяющие эти города, ни о чём не думая... Вернее, не думая ни о чём плохом. То есть о нынешней моей жизни.

У воды стало прохладно, и я, поднявшись от реки в центральную часть города, непроизвольно подошёл к ДК, где на 18.30 должен был демонстрироваться фильм, снятый недавним выпускник ВГИКа, югославом Владимиром Павловичем.

Прочитав на цветной афише в фойе, где было и окошечко кассы, краткую аннотацию к картине с названием «Школьный вальс», я купил билет и вошёл в зал. Однако лучше было бы мне этот фильм в тот день не смотреть. Он был пронзительно грустный. Играли в нём прекрасные молодые и ещё малоизвестные тогда широкой публике актёры. С некоторыми я был знаком, там, в Петербурге, а кажется как будто бы в другой, такой далёкой жизни, когда уже почти не верится, что это была твоя жизнь...

Сюжет картины был о том, как рассыпаются порою в прах наши дерзкие юношеские мечты. И предстоящая жизнь, видевшаяся чудесной сказкой, превращается в серенькие, скучные будни, когда не спасает даже любовь... И когда любимчики Судьбы, «зацелованные» ею, кажется, с самого раннего детства, вдруг «ломаются» от первых соприкосновений с примитивными житейскими трудностями, теряя себя и своё лицо. А те, кто ничем, кроме своей непреклонной, никому не видимой до поры воли, не выделялся, становятся хозяевами жизни.

Как точно о подобном сказано у Гоголя: «Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь,

выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом...»

Я шёл по слабоосвещённым редкими фонарями улицам на стационар совершенно один, да и кино-то смотрело человек десять, не больше, стараясь шагать как можно медленнее. И мне, в вечерний этот час, было так же тоскливо и одиноко, как некоторым героям, только что просмотренной картины, вдруг с невероятной ясностью осознавшим: «Что наши лучшие желанья, что наши свежие мечтанья истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой».

Да, действительно, «несносно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она...», повторял я пушкинские строки, будто нарочно растравляя свою рану, словно ставя жирный крест на моей неудавшейся жизни. Хотя где-то там, в глубине души, противился этому «окончательному диагнозу»: «Неудавшаяся жизнь», настойчиво вгоняя в своё, разъедающее мою волю настроение, как вгоняют клин в чурку, не желающую раскалываться, иные мысли. «Нет, ничего ещё окончательно не потеряно. У меня ещё есть время и воля. Я сумею переупрямить Судьбу...»

Именно с этим настроением (переупрямить Судьбу во что бы то ни стало) я и отправился на следующий день вместе с бригадой и бригадиром на буровую.

Через неделю мы закончили бурить одну неглубокую, в семьдесят метров, скважину на ферме и перебрались на новое место, к пруду, на окраине села. После навозных куч, с их специфическим запахом, среди которых стояла наша буровая все эти дни, место у пруда, с высокой искусственной дамбой, ровно заросшей травой, показалось нам просто идиллическим. Вообще же в Решётах, а именно так называлась эта аккуратненькая деревенька, мы должны были пробурить ещё две скважины. Что по времени (в зависимости от грунтов) на все скважины могло составить недели три, а то и более.

Устанавливая буровую, мы наслаждались не только чудесным окрестным видом, с плавающими в пруду гусями и небольшим тёмным ельником на другом берегу, но и чистым, влажным воздухом.

Уже под вечер, когда все работы по установке буровой и её обустройству были закончены, а дежурный приступил к готовке ужина, я примостился на дамбе отдохнуть. А заодно и полюбоваться окрестным видом. Вода в большом пруду отливала красноватыми отблесками и казалась масляничной и тяжёлой. И по этой «плотной» воде, как по льду, неспешно скользили похожие на небольшие сугробы гуси, то и дело погружая в воду, недалеко от берега, свои небольшие головы на гибких сильных шеях.

На красных лапках гусь тяжёлый,  
Задумав плыть по лону вод,  
Ступает бережно на лёд,  
Скользит и падает; весёлый  
Мелькает, вьётся первый снег,  
Звездами падает на брег... —

припомнилось мне из «Евгения Онегина», словно и сам я находился сейчас не на буровой, а в родовом имении. И ещё мне подумалось, как должно быть хорошо на этом пруду зимой ребятам. И снова припомнился Пушкин: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лёд».

Погружённый в свои мысли, я и не заметил, как ко мне подошёл бригадир.

— Чего харчиться не идёшь? Святым духом сыт, что ли? — грубовато спросил он.

— Иду, — неохотно отозвался я, поднимаясь с ещё не пожухшей до конца травы, на которой возлежал, как на дружеской пирушке римской знати.

– Я на день-два в Тулун отлучусь. Наряды Галембе сдам, чтоб в управлении успели нам в расчет этого месяца включить пробуренные метры, – продолжил он. – А вы тут пока обустройтесь и, если что, (это – «если что» мне совсем не понравилось, да и то, что не я, а мастер участка повезёт наряды в Иркутск – тоже), забуривайтесь без меня. Ты уже спокойно можешь работать самостоятельно, – подбодрил он. – Да и грунты тут повсюду несложные. До конца месяца нам надо все три скважины здесь в Решётах пробурить... – Сделав небольшую паузу, он закончил: – Чтобы нормально получить.

Бригадир направился в правление, откуда шофёр председателя колхоза, по предварительной договорённости с начальством, должен был отвезти его в город, а я побрёл в наш вагончик, чувствуя что изрядно голоден.

Бригадир не оправдал моих опасений о том, что скважину нам придётся бурить без него. Он вернулся уже на второй день, под вечер. До его приезда мы, правда, уже успели забуриться и пройти почти полторы штанги.

– Молодцы! – крикнул он, подойдя к буровой. – Глуши мотор! – стараясь перекрыть шум ротора, закричал он уже мне, с ног до головы заляпанному красноватой глиной.

– Айда в балок. На сегодня хватит, – проговорил он, уже не напрягая голоса, когда шум двигателя стих. – Я рыбки хорошей привёз, пивка. Отдохнём маленько.

Бригада оживлённо приводила себя в порядок. Пофыркивая, умывались на вольном воздухе, поливая на руки друг другу воду, расчёсывали мокрые волосы, переодевались в чистое.

Для полноты ощущений вынесли небольшой раскладной стол на дамбу – благо, что вечер был по-летнему тёплым – и уселись вокруг него на табуретках.

Бригадир с видом факира извлёк из своего необъятного портфеля нечто завернутое в промасленную газету. Развернув её, он выложил на стол большую копчёную красную рыбку в золотистой корочке.

– Режь, – обратился он к Кириллу, сидящему рядом с ним, – да нормальными, не сиротскими кусками. Ещё одна есть.

Вновь нагнувшись к своему портфелю, он извлёк несколько бутылок пива.

– А кроме пива у тебя там ничего покрепше не затерялось? – с лукавинкой спросил Иннокентий.

– Нет, мужики, – отрезал бригадир. – Разгоняться нам не можно. Работать надо. Да и Галемба мне передал, что жаловался ему на нас сбёгший из бригады Карандин. Пьянь, говорит, там одна. Работать по-настоящему не с кем... Так что по пивку и – баиньки. Завтра чуть свет бурить начнём.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.